

Сердце бройлера

Роман-драма для чтения без героя

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Виорэль Ломов

Виорэль Михайлович Ломов

Сердце бройлера

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29600800

SelfPub; 2021

Аннотация

Роман-хроника нескольких поколений трех семей, жителей крупного города. Семейная драма, неотъемлемая часть драмы социальной. В романе показано влияние легкомысленных (и не только) поступков отцов на судьбы детей и их собственные. Рассказано о том, как страсти родителей не только порождают детей, но и порой сжигают их дотла.

Содержит нецензурную брань.

Содержание

Примечание	7
Акт 1. Две Анны (1961—1962 гг.)	8
1. Визит «литераторши»	8
2. Пошла на Втэк, получила втык	17
3. О послевоенных залпах	28
4. Кафедра	36
5. Камарилья	46
6. Петя Сорокин и беременный воробей	56
7. О том, как поссорились Анна Ивановна с Анной Петровной	70
8. Кто не учится у жизни, того учит жизнь	81
Интермедия (1968 г.)	91
Запах портрета	91
Акт 2. «Три товарища» (1970—1978 гг.)	106
1. Такая радостная встреча, что искры сыплются из глаз	106
2. У «задохликов» с «болтунами» нет будущего	115
Конец ознакомительного фрагмента.	121

Виорэль Ломов

Сердце бройлера

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Михаил Лермонтов

Место действия – город Нежинск и поселок Лазурный на реке Неже, Коктебель в Крыму, Сельцо под Брянском – места, приятные сердцу и приятные уму, где хочется жить и хочется умирать. Места, удаленные от Москвы дальше, чем Москва удалена от них.

Время – наше и чуть раньше, то есть настоящее и прошедшее.

Персонажи:

Аглая Владиславовна – учительница русского языка и литературы;

Нина Васильевна Гурьянова – жена художника Гурьянова, слабая, но во всех смыслах достойная женщина;

Алексей Гурьянов – поэт;

Анна Петровна Суэтина – женщина, всю жизнь прошагавшая в сапогах;

Анна Ивановна Анненкова – женщина, съедаемая «ужас-

ной» тайной;

Настя Анненкова – ее дочь;

Григорий Федорович Толоконников – заведующий кафедрой, «шеф»;

Николай Федорович Гурьянов – плодовитый художник-портретист, «скорочлен» Союза художников;

Евгений Суэтин – друг Алексея Гурьянова;

Анатолий Дерюгин – владелец «Трех товарищей»;

Зинаида Дерюгина – его жена, маляр;

Фрол Ильич Гремибасов – знаменитый оперный певец;

Иван Гора – директор птицефабрики, друг Гремибасова;

Павел Тихонович Аверьянов – начштаба в брянских лесах;

Соня Бельская – буфетчица;

Ира – она же Ирочка, Ирен-Кармен;

Сергей Суэтин – талантливый математик;

Семен Борисов – большой любитель маленьких девочек;

Катя Бельская – буфетчица, дочь буфетчицы Сони Бельской;

Селиверстов – малахольный натуропат;

Оксана Пятак – чертежница, готовая на всё;

Глафира – «соломенная» вдова с немислимой грудью;

Яна – попутчица, 14 лет;

Артур Петрович Никольский – профессор, похожий на грузина;

Нина – раздатчица столовой, центрфорвард «Милана»;

а также – преподаватели и сотрудники Нежинского СХИ, конструкторы и технологи завода «Нежмаш», орденоносный коллектив птицефабрики имени Мартина Лютера Кинга, хористы и хористки народного хора, цыгане, родня на Брянщине, граждане с улицы Лассалья, Живчик в «Сезаме», фигуры с центрального рынка и центрального кладбища, подонки в подъезде, трехлапый пес Джон Сильвер (он же Дружок), генерал Хлудов, Филдинг на столе, женщина с белым букетом роз и светло-серая лошадь из сна.

Где-то вдали то ли поезд, то ли электричка...

И над всем этим – «ис-кюй-ство» и «Черный квадрат» в стороне.

Примечание

Из приведенного выше сложнее всего изобразить время, так как стоит присвоить ему статус настоящего, оно тут же превращается в прошедшее.

Очень сложно изобразить также правду, ибо у каждого из персонажей своя правда, а две правды, соединенные воедино, могут дать одну только ложь.

АКТ 1. Две Анны (1961—1962 гг.)

1. Визит «литераторши»

– Я всегда благоговела перед Лермонтовым. Сколько собрала о нем всего! Редчайшие материалы! – у Аглаи Владиславовны блестели глаза и звенел голос. Она была сильно взволнована собственной речью.

Нина Васильевна Гурьянова молча слушала ее. Поначалу она не разделяла энтузиазма «литераторши» по поводу того, что Лермонтов – это всё, что есть в русской литературе (ей гораздо больше нравился Стефан Цвейг), но когда Аглая Владиславовна забралась в заоблачные выси литературной классики, у Нины Васильевны закружилась голова и она согласилась с этим. Стала бы Аглая Владиславовна так волноваться, будь оно по-другому?! Все-таки знает человек, о чем говорит. Это ее предмет. В конце концов, она пришла к ней не для того, чтобы битый час говорить о Лермонтове, а похвалить сочинение Лешеньки на вольную тему, которому тот дал название «Лермонтов и его демонизм». Самой Нине Васильевне, разумеется, было бы легче справиться с названием «Лермонтов и Кавказ», но говорят же, что дети идут дальше родителей. Видно, хорошо написал, раз взволновал так учительницу.

– А Николай Федорович скоро придет? – спросила Аглая Владиславовна, заметив на этажерке портрет красивого мужчины. Не иначе автопортрет, подумала она, невольно залюбовавшись им.

– Право, не знаю, – ответила Нина Васильевна. – Он так занят.

– Да-да, слышала, выставку очередную организовал?

– Организовал, – сухо ответила Нина Васильевна.

Аглая Владиславовна открыла было рот, чтобы спросить еще о чем-то, но Нина Васильевна извинилась и вышла из комнаты. Когда она вернулась, то увидела мечтательный взгляд учительницы, обращенный в окно. У нее, видно, только о Лермонтове и болит голова, подумала Гурьянова. Однако, какая гордая посадка головы! В «литераторше» чувствовалась «порода».

– Сочинение на пять с плюсом! Да еще собственное стихотворение: «С радостью и грустью ждем приход весны, а она промчится, словно всплеск волны, белой сиренью всё посеребрит и, как в море чайка, снова улетит». Чувствуете теплую грусть? Подражательно, конечно, демонизма нет, но есть чувство.

– Это у него от отца, – вырвалось у Нины Васильевны.

Аглая Владиславовна посмотрела на автопортрет Гурьянова. О похождениях художника говорили даже девочки в туалете, но учительница никак не предполагала, что Нина Васильевна вдруг сама заикнется о них. Ей стало немного

жаль эту славную, но простоватую женщину.

– Я, Нина Васильевна, очень благодарна Ираклию Андронникову за цикл передач о Лермонтове. Жаль только, в его красноречии Лермонтов теряется, как парус в тумане. Правда, красиво: «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом!...»

– Вы, наверное, многое знаете наизусть?

– Многое? Я все знаю наизусть.

Нина Васильевна пересилила минутное раздражение от того, что у нее вырвалась эта фраза о муже, и она спросила:

– Неужели все? А как вы увлеклись им? Я имею в виду Лермонтова.

– Лермонтов ворвался в мою душу, когда мне было три года. Я очень хорошо помню тот день, – у Аглаи Владиславовны мечтательно заблестели глаза. (Ну, теперь надолго, подумала Гурьянова). – Папа позвал меня. Положил мне на плечи свои руки, поправил бантик, вот здесь... Поцеловал в лоб, а потом усадил к себе на колени и взял в руки «взрослую» книгу. Развернул ее, там был портрет... Мои глазенки, которые ничего еще не видели в жизни, уперлись в глаза, которые, казалось, видели в жизни уже всё. Мне почудились в них слезы. Я испугалась, что слезы хлынут и размоют портрет. И в то же время я была почему-то уверена (это в три-то года!), что слезы никогда не хлынут из этих глаз. Глаза, как плотина, удерживали непонятную мне грозную стихию. Эти глаза всю жизнь преследуют меня. Мне кажется порой, что

я их еще раньше видела...

– Когда? – Нину Васильевну неприятно задели подробности, которых не было в ее жизни.

– Тогда. В девятнадцатом столетии...

Нина Васильевна почувствовала себя неловко.

– Хотя в три года и Лермонтов плакал на коленях у матери от жалостной песни. Надо быть великой матерью, чтобы иметь такого сына... Папа стал глухим голосом нараспев читать: «Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана; утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя...»

Нина Васильевна подлила гостье чаю. Она смущенно молчала, словно учительница приоткрыла ей свою душу больше, чем того требовали приличия. Но надо отдать должное Аглае Владиславовне, у нее это получилось очень естественно, без надрыва. Если бы я стала рассказывать первому встречному о себе, у меня получилось бы это со слезами и с желчью, подумала Гурьянова.

Аглая Владиславовна, почувствовав настроение Нины Васильевны, спросила:

– Вас ничто не смущает в моем рассказе?.. Я представила себя золотой тучкой на груди у папы-великана, прижалась к отцу и, хорошо помню, взволнованно, по-детски взволнованно, как-то нарочито судорожно, вздохнула. Папа посмотрел на меня, улыбнулся. Я не видела его лица, а улыбку почувствовала. Она как-то согрела мне голову. Вот тут... «Но остался след в морщине старого утеса, – продолжал читать

папа. – Одинокó он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне...»

Нина Васильевна внимательно слушала учительницу. Она отвлеклась от собственных мыслей.

– Леша так похож на вас, Нина Васильевна. Николай Федорович немного другой, – Аглая Владиславовна кивнула на портрет. Истинный красавец, подумала она. Интересно, в жизни он такой же?

Нине Васильевне стало страшно тоскливо. Она с ужасом поняла, что с нею творится неладное. Только бы сдержать себя, стиснула она зубы.

– У меня из глаз брызнули слезы, – продолжала Аглая Владиславовна. – Я долго не могла успокоиться. «Что? Что с тобой?» – обеспокоенно спрашивал меня папа, хотя я знала, что он понимает, в чем дело. После слов «одинокó он стоит...» я вдруг представила, как вдаль по лужицам (мне так представлялась тогда лазурь) бежит тучка Глаша (это я) в нарядном платье, оглядывается, машет ручкой, а ей вслед смотрит старый папа (утес) и плачет. И вот расстояние между ними стало таким большим, что они перестали видеть друг друга (пустыня), и теперь никогда больше не увидятся, никогда, никогда... И лужицы исчезли. И радостный свет померк. Я это видела всё, но, конечно же, не могла передать папе словами. «Что случилось? – зашла в комнату мама. – Почему ребенок плачет?..» А что было дальше, я не помню. Воспоминания померкли, растаяли, как свет, как лужицы.

– Он, наверное, больше никогда не читал вам это стихотворение? – Нина Васильевна справилась с приступом тоски, но в душе разлилась горечь, как из желчного пузыря.

– Напротив. Я много раз просила папу прочитать о тучке и утесе, и каждый раз плакала навзрыд. Папа однажды рассердился и сказал, что не будет больше читать мне это стихотворение, если я буду такой ревой. Я перестала приставать к нему и попыталась прочитать сама. Не помню уже, как я пыталась читать, но как-то пыталась. И когда за буквами научилась видеть слова, когда из букв, как из кубиков, я сложила картину, так поразившую мое воображение, я была немного разочарована. Картина и получилась, и не получилась. Не хватало папиного голоса. Я рассматривала ее и редела в своей кроватке, пока не уснула. Это мои, наверное, самые яркие воспоминания в жизни. О начале ее. А уже ближе к дням сегодняшним... Когда папу хоронили, эта картина со старым утесом и убегающей вдаль беззаботной тучкой вдруг так ярко вспыхнула в моей памяти, что, помню, стало больно глазам и я зажмурилась. Вот такие моменты запомнились мне в моей жизни... Они меня и подвигли на учительство, литературу и Лермонтова...

Учительница замолчала, вновь мечтательно уставившись в окно. Гурьянова с трудом нашла подходящий вопрос:

– Вам, наверное, непросто... с нашими оболтусами?

– Что вы! Какие же они оболтусы? Они все талантливы.

Леша вон в прошлом году одним порывом написал пять сти-

хотворений. Правда, милые?

Нина Васильевна впервые услышала о том, что сын пишет стихи, но она кивнула головой:

– Да-да.

– В них есть даже мысли. И, как ни странно, чувственность.

Нине Васильевне стало очень жаль себя, и у нее вырвалось:

– Простите меня за откровенность... у меня, Аглая Владиславовна, совсем не сложилась личная жизнь. Из-за этого я многого, наверное, не смогла разглядеть в собственном сыне... Того, что разглядели вы. Спасибо вам! – Нина Васильевна часто заморгала глазами.

– Да что вы, голубушка, что вы? У меня же это профессионально, успокойтесь! Думаете, у меня сложилась жизнь? У кого она сложилась, хотела бы я знать? Для этого надо иметь ярко выраженное «хищное начало», чего там – коготок показать, зубки оскалить, глазиком сверкнуть. У меня этого, как видите, тоже нет...

– А ваши родители? – Гурьянова вытерла краем фартука глаза. Нина Васильевна разумела – у них-то хоть сложилась жизнь?

– Не будем больше о них. Не поверите: ученики и творчество Лермонтова дают мне все, чтобы быть счастливой в жизни. Мне кажется порой, что я наблюдаю долину жизни откуда-то сверху его глазами... Я уже семь раз в свой отпуск

возила ребят в Ленинград, Тарханы, Тамань, Пятигорск... А как написал о нем Паустовский!

Послышались быстрые шаги, дверь со стуком открылась. Заскочил Леша, бросил под стол портфель, поздоровался с учительницей. Та улыбнулась:

– Мы с тобой, Леша, сегодня раз двадцать виделись, если не больше.

– Нет, двадцать не виделись. Раз восемнадцать.

Женщины рассмеялись. Нина Васильевна засуетилась с ужином, а Аглая Владиславовна сказала: «Ой, что же это я так засиделась?» – и стала прощаться. Заметив вопрошающий взгляд Алексея, обращенный на мать, она сказала:

– Вот, Леша, хвалила тебя маме. За глаза. Теперь могу повторить и в глаза: молодец, но не зазнавайся.

– Аглая Владиславовна, показать стихи?

– Покажи.

Леша вытащил из-под учебников тетрадочку с портретом Пушкина на обложке. Учительница улыбнулась, полистала тетрадку, прочитала несколько стихотворений. Задумалась. Сказала:

– Что ж, Леша, пиши. У тебя должно получиться. У тебя рифмы – кони, а мысли – вожжи; вот и погоняй рифмы мыслями, не наоборот. У редких поэтов, правда, наоборот, но ты другой. Впрочем, учись.

– Что, и физике с химией учиться?

Аглая Владиславовна рассмеялась.

– Какой лентяй! Будет странно, если ты станешь поэтом.

– Почему странно?

– Да потому что лентяй ты. Лень – мать всех пороков, а отец ее – разум. Лермонтов в твои годы уже написал «...хоть наша жизнь минута сновиденья, хоть наша смерть струны порванной звон...» Так вот. Таких недетских строк мало во всей поэзии.

– Будут! – грозно заверил Леша.

Женщины рассмеялись и распрощались с легкой душой.

– Вы заходите, обязательно заходите еще! – неожиданно сказала Нина Васильевна в дверях. – Вы мне свет в душу внесли!

2. Пошла на Втэк, получила втык

Не правда ли, Новый год напоминает вокзал? Провожают, встречают, а все остается на месте? Как и положено, проводы шестьдесят первого года и встреча шестьдесят второго сошлись в полночь тридцать первого декабря. Кем положено – не важно, когда на столе положено много такого вкусненького, от чего слюнки текут.

Новый год Анна Петровна Суэтина встретила у Анны Ивановны Анненковой. У той был телевизор, который за отсутствием Деда Мороза и полноценной семьи вполне мог отвлечь на пару-другую часов от жизни, в которой нет семьи, деда Мороза и телевизора. Был еще и холодильник, чудо человеческого гения. Двенадцатилетняя Настя сразу после боя курантов положила голову на стол, и Анна Ивановна отвела ее в спальню, а пятнадцатилетний Женя где-то в час пришел со своих гулянок (выпивший, взяла на заметку Анна Петровна), поздравил женщин, взял ключ у матери и ушел домой. Дамы остались одни. Стол славный – праздник славный. Когда Толстой писал, что все смешалось в доме Облонских, он, конечно же, имел в виду запахи. Запах мандаринов со стола и запах курицы из духовки могут смешать даже мысли. Шампанское пили, смотрели телевизор. Отрывки из фильмов. В старых фильмах такие чистые голоса!

Они пригрелись на диване, и у обеих глаза были на мок-

ром месте. Удивительная вещь: жизнь сушит и выкручивает, а влаги в организме все больше и больше! Отрывки были из комедий или про любовь, и обе подумали, что и в сорок, и в сорок пять (Анна Петровна Суэтина была старше Анны Ивановны Анненковой на пять лет) остро чувствуешь аромат чистой любви. Разница лишь в том, что молодой влюбленный выглядит трогательно, а старик смешно. (Почему они себя считали старыми?) Двойное наказание, думала Анна Петровна, не по-армейски: и любовь беспредметна, и сам смешон. Не верится, что по земле Счастье ходит... Под окнами раздались шаги, крики. Расходились граждане из гостей по домам. Каждый нес свое счастье и был счастлив им. Передачи кончились. Сударыни посидели еще, попили чайку и с легкой грустью легко распрощались. Обе устали от отдыха и друг от друга. С годами сильно привязываешься к своему одиночеству. Больше, чем принято думать.

Отдых у Анны Петровны приходился на воскресенье или на праздник и заключался в том, что, проснувшись, она настраивала себя на него так: «Сейчас позавтракаю и... отдыхать! Никуда не идти. Обработать статистику или проверить контрольные. Сразу трех зайцев убью: отдохну, радио послушаю и дело сделаю. Покой, полная изоляция, никакого общения с коллегами».

Анна Петровна пришла домой в четвертом часу. Час, как бы это поэтичнее сказать, накинул синюю шинель со снеговым подбоем... Безнадежно пустой был час. Голова шумела,

как холодильный агрегат у Анны Ивановны. Анна Петровна потихоньку зашла в дом, не зажигая свет, разделась и легла. Ей было светло и тревожно, во рту горечь со сладостью, а на сердце печаль. Анна Петровна чувствовала себя, как забытый всеми томик русской лирики девятнадцатого столетия. Передачи кончились, зрители и актеры спят. Анна Петровна вспомнила вдруг, как она в юности любила театр, как трепетала перед ним, причудливым творением людей, в котором можно десять тысяч секунд спектакля превратить в праздничный салют из десяти тысяч восторженных мыслей, чувств, цветов и слез. Где совершенно нет никакой статистики, уводящей своими округлениями и средними величинами от истины. Округленная средняя величина – завкафедрой Толоконников, «шеф»... Ах, как давно не была я в театре, подумала она. Впрочем, какой театр, когда нет ни туфель, ни платья? А Мольера можно и самой почитать. Так и провалилась в сон Анна Петровна с мыслями о театре, Мольере и отсутствующих туфлях и платье...

Новый год встречают обычно для радости, но обычно он несет новые огорчения. День Новый год прибавляет, а вот денег нет. Когда ползарплаты улетает к теткам в Белую Калитву, да еще в этот Брянск, невольно ужимаешь себя вчетверо.

«Двойное наказание, – вновь подумала, проснувшись, Анна Петровна, – не по-армейски как-то: и любовь беспредметна, и сам смешон. Ну, да не всегда же так?! Не для меня ее,

видно, чары и сомнения, не для меня. Всё в безвозвратном прошлом. Хотя и в прошлом этой святой и нежной любви не было у меня, не было... Впрочем, была. Чистая, возвышенная любовь... К подлецу и пьянице. И вот результат: не верю, что по земле Счастье ходит».

Под окнами опять раздались шаги, крики. То расходились по домам граждане. И каждый нес свое счастье и был счастлив им. Анна Петровна даже встряхнула головой. Словно и не ложилась, а это продолжается вчерашний кошмар ее жизни. Женечка спит, спи-спи, мой хороший. Она укрыла вылезшую из-под одеяла ногу сына.

От первого дня наступившего шестьдесят второго года, в котором Анна Петровна только-только проснулась, поднялась с кровати и уже досадует на то, что столько часов прекрасного утреннего времени пропали зазря, поднимемся на минутку и мы к недостижимым высотам начала всякой жизни. С высоты своего таинственного появления на этот свет человек долго спускается в долину людской глупости, бредет по ней всю жизнь, а перед старостью, когда сил осталось только-только дотащиться до нее, пытается преодолеть маленький холмик здравого смысла, который он почему-то считает высшей (может, потому что своей?) точкой мудрости.

Итак, шестьдесят второй. Что так люди придают столько внимания пустякам? Прошел год – и из-за этого терять еще

один день? Поскольку после бессонной ночи весь этот день будешь разбита, как старая кляча. Так и вышло. Вечером свалилась в постель, не дождавшись, когда Женя вернется с елки.

Покатил и этот год.

Анна Петровна чувствовала себя отвратительно. В последнее время она сильно нервничала. Грипп любит нервных. Вот и оседлал он ее в первую же неделю нового года. Ноги налились свинцом, заложило нос, ангина и прочие прелести. Неудивительно – после восьми часов занятий на «свежем» воздухе, из которых два часа ушли на бонитировку Верхогляда. Два часа на пронизывающем ветру жеребец бесился, вырывался, лягал и вдобавок скалил зубы, как доцент Крылов. Студенты от учебного процесса попрытались в автобусе, оставив с ней старосту группы и отличника Рогова. Молодец, Рогов, правильно: свислый круп, телячьи запястья... Что, Рогов, холодно? А холка как тебе? Дружки-то попрытались? Удастся ли им так же удачно спрятаться от жизни?

Везет же ей с этими выездами в учхоз да племхоз! Как выезд, так отвратительная погода: или ливень с непролазной грязью, или мороз с пронизывающим ветром. Сколько раз уже прохватывало на сквозняке. Горло вечно обложит, голова болит, температура. А надо занятия вести, рассказывать что-то, разьяснять этим бестолочам.

Завтра на собрании должна решиться ее судьба. Господь послал ей, похоже, последнее испытание, но она принимает

его! Она победит, она должна победить, иначе весь божий промысел лишается смысла, чего просто не может быть.

Анна Петровна болела очень часто. Она всю жизнь вела дневники, как Лев Толстой, и, как Лев Толстой, записывала туда не только мысли, но и справки о своем здоровье. Когда потом, в 77 лет, она перелистала всю гору своих записей, она поразилась, что проболела всю жизнь (в том числе и весь шестьдесят второй год), и поняла, почему болела. Когда болеешь, меньше думаешь о будущей жизни, больше вспоминаешь о прошлой. А может, болеешь, оттого что думаешь только о прошлом, в котором одни болезни?

Целеустремленности Анны Петровны можно было позавидовать. Цели у нее были дальние, по ту сторону горизонта, от них шел тонкий особый аромат, и она летела к ним, как пчела. Когда цели не видимы, их видимо-невидимо. И вообще жизнь – увлекательная штука, любила говорить она. Увлечешься целью – увлечешься и жизнью.

Многие мужчины душу бы отдали, да и все остальное, за эдакую цельность натуры. С нею – не хочешь, станешь маршалом авиации.

Хотя Анна Петровна, по меркам того ученого мира, в котором оказалась, достигла далеко не всех «известных степеней». Характер не позволил. Но обо всем по порядку.

Ранний детский труд, который позже заклеят, как крайне вредоносный, закалил Анну на всю жизнь.

Разумеется, очень сильный след оставила в ее характере

атмосфера, царившая в семье. Мама происходила из семьи и не бывших хозяев жизни, и не сегодняшних ее хозяев, ни тогда, ни сейчас не распоряжающихся своей или чьей-то жизнью. То есть той узкой прослойки граждан, которые были равноудалены и от господ, и от холопов. В роду их были учителя и священники, один географ-путешественник, а замуж она пошла без родительского благословения, что тогда не могло не говорить о чрезвычайной силе характера. Мама музицировала и пела. Отец у Анны был военный человек, а значит, приверженец точности во времени и порядка в пространстве. Место свое в строю знал и этого же требовал от подчиненных. Словом, педант. Так вот, атмосфера в доме Суэтиных была всегда ясной, прозрачной, геометрически правильной, наполненной приятными хлопотами и заботой друг о друге и не лишенная некоторого изящества. Разумеется, Анна подспудно и себя готовила к аналогичной судьбе.

В Анне с детства был силен дух практицизма и голос разума. Эмоции, столь же сильные, иногда поднимали вихрь в ее душе, но она железными тисками обуздывала свой нрав.

Быть первой – во всем, за что она бралась. Второй – значит, никакой. Жаль, фамилия не способствовала этому. Она хотела бы и во всех списках идти первой. У Анны плохо складывались отношения с теми, кто был по списку впереди нее. Даже если среди них кто-то и симпатизировал ей. Как один вихрастый парнишка Агалаков. И симпатизировал бы ей с фамилией Шукин, например! Ничего у нее не получи-

лось с Агалаковым, хотя он даже приезжал в Нежинск после войны, чтобы повидаться с нею.

Лидерство в ней сидело глубокими корнями, и она безотчетно следовала за ним вслед. И когда у нее получалось это (а в молодости получалось всегда), она невольно становилась центром любой компании и душой любого общества, хотя не всегда душа и центр совпадают. Приятно, черт возьми, вести за собой людей к одной тебе видимым целям! И люди шли за ней.

У Анны Петровны помимо работы и сына был только один бзик: чай. Чай у нее был всегда только индийский, китайский или цейлонский. Где она его доставала – одному богу известно. Она прекрасно его заваривала. Анна Петровна никогда не позволяла себе окунуть палец в чайник, чтобы проверить, скоро ли закипит вода, и никогда не потчевала вчерашней заваркой.

– Анна Ивановна, подлить вам еще?

– Премного обяжете, Анна Петровна. У вас замечательный чай. Цейлонский?

– Да, по пятьдесят две копейки, не по сорок восемь.

– По пятьдесят две – совсем другой чай.

– Совершенно верно, ни в какое сравнение не идет с тем, что по сорок восемь.

– Ну, что, вы сегодня ходили в поликлинику, Анна Петровна?

– Лучше не вспоминать! Так не хотела идти. Пошла на ВТЭК, получила втык.

Анна Ивановна улыбнулась.

– Я теперь не просто Суэтина Анна Петровна, я теперь – «моя хорошая». Как в блатной песне. Пошла на ВТЭК за справкой для месткома, на курорт съездить, сосуды головного мозга подлечить – кофеин уже не спасает. Хрен! Как бы не так! Подлечишь с этими бестолочами!

Анна Ивановна сочувственно кивала головой, рассеяно думая о своем выступлении на завтрашнем Совете и о том, что только начни болеть – конца не будет!

– Все, как заведенные, «моя хорошая! моя хорошая!» – а справку никто не дает. Да и черт с вами, в конце концов решила я, обойдусь без курорта. Но ногу-то надо идти лечить. Помните, в Ленинграде отнялась, 15 августа? Полгода уже болит, немеет.

– И куда же пошли? – машинально спросила Анна Ивановна.

– Куда? К бездельникам да бестолочам и пошла! Куда же еще? Сперва к невропатологу, а потом к хирургу. Невропатолог – тот хоть за меня не брался, издали смотрел, а хирург прямо с порога: «Спустить рейтузы!» Я ему – а чего это вы собираетесь смотреть? «Чего надо, то и посмотрю».

Анна Ивановна улыбнулась.

– А я к вам с ногой пришла, вот ногу и смотрите. «Вот ногу сейчас и посмотрим. Снимайте-снимайте». Ну, я их при-

спустила, не совсем, конечно, рукой придерживаю, а он прикрикнуть изволил: «Ну, чего стесняетесь, ведь в больницу пришли, не к попу!» Долго он меня ощупывал, вот тут к мослам все руки прикладывал, словно упитанность курицы проверял. И наконец радостно так, со злорадством выкрикнул: «Нет у вас сосудистых заболеваний!» Словно я на них настаивала и требовала их признать. Ну и слава богу, сказала я, натягивая чулки и рейтузы. Он застрочил в карточку. Долго, торопливо так, почерк жуткий. Я стою возле него. Жду, когда отстрочится. Вскинул голову, смотрит удивленно: «Вам что? Я же сказал – нет у вас сосудистых заболеваний, что вы ждете?» Ну, а с ногой-то мне что делать, ведь болит? «Это уже не знаю, идите к невропатологу». Была, направил к вам. «Нет у вас сосудистых заболеваний!» Это я слышала уже. Вы мне что-нибудь новенькое сообщите. Какое там, новенькое! Он свое образование все в институте оставил. Так и ушла ни с чем. То есть со своей болезнью. А все врачи прямо в один голос, как сговорились, заявляли мне: «У меня вашей болезни нет!» Ни у кого нет. Понятно, она у меня! Была и осталась. Моя хорошая!

Главное отличие Анны Ивановны и Анны Петровны состояло в том, что Анне Петровне ничего не надо было от «этого» института. Анне Ивановне же, напротив, от «этого» института надо было всё. Это отличие и привлекло их поначалу друг к другу. Потом как-то само собой получилось, что им обоим действительно на какое-то время от «этого»

института ничего не надо было, кроме друг друга.

Однако, надо признать, те качества, которые притягивали их друг к другу, они терпеть не могли более ни в ком другом. Анна Петровна, например, никогда не лгала, не флиртowała, не терпела взяток и подкупа в форме подарков и суесловий, не терпела фамильярности. А вот Анна Ивановна всё это делала сама и терпела от других, и охотно пользовалась подношениями и лестью. Делала она, правда, это не осознанно, а бессознательно. Делала – и все тут! Без всяких там штучек. Но когда они сходились вдвоем, все это они как бы оставляли за скобками. Чрезмерную прямолинейность одной и чрезмерную изворотливость другой. Геометрия она на то и геометрия, что всё в ней уживается: и прямые с кривыми, и тупые углы с острыми. Словно этого и не было у них, а если и было, то они и знать о том ничего не желали!

3. О послевоенных залпах

Человека гипнотизирует огонь, он любит сидеть и смотреть на костер или закат солнца и думать, как всякий мыслящий человек, ни о чем. Скажем, о том, почему кроты или суслики лучше его обустроивают свой дом.

Анна Ивановна и Анна Петровна садились пить чай вместе с солнцем. Солнце садилось, и они садились. Из кухни был виден золотой закат. Закат был прекрасен, как испанский танец.

Глядя на него, они любили беседовать. Обе квартиры были на западной стороне соседних домов, только из окон квартиры Анны Ивановны была видна степь с рощицей вдали, а из окон Анны Петровны была видна еще и река.

Сколько теплоты во взглядах, словах, мыслях! Сколько теплоты во всем!

– Вот так бы вечно сидел и смотрел на закат, – сказала Анна Петровна.

– Я давно хочу вас спросить, Анна Петровна, почему вы о себе говорите в мужском роде: «сидел», «смотрел»?

– А я всю жизнь, как мужик, в сапогах протопала. Вон с тем чемоданом.

– Я думала, это ящик.

– Нет, чемодан. Из Венгрии. Плотник один подарил. Раз срьд бела дня на вокзале чуть не украли. Сижу на скамейке,

завтракаю. Двое подошли, взяли чемодан и пошли.

– А вы?

– Что я? Я – как всегда. Отняла. У меня от Венгрии самые добрые воспоминания остались. Это чехи венгров не любят, а венгры чехов. А ко мне они хорошо относились. От тифа спасли. В госпитале точно загнулась бы. Сережки, видите? Оттуда. Из особого камня. Может, и драгоценный, не знаю. Видите, красная дорожка за стол бежит? А при луне рубиновым светом горят. Как-то засиделась за бумагами. Приказы, письма... Уже отгремели победные залпы. В Венгрии еще. Я еще семь месяцев была в оккупационных войсках. Стемнело, вышла на крылечко покурить. Ночь чудная. Луна. Сажу на приступочке, курю. Слышу, идет кто-то. Вдруг как резнет. Стреском. И засмеялся сам себе. Мимо идет, меня не видит. А я не дышу, папироску за спину прячу. Неудобно как-то. А он – шашь ко мне! Напугал. Увидел меня, остолбенел. Начштаба Аверьянов. «Что вы тут делаете?» – «Курю, Павел Тихоныч». – «А это что?» – тянется к уху. – «Сережки». – «То-то, смотрю, огонек странный» – и, не прощаясь, ушел. А на повороте засмеялся. Такие вот они, послевоенные залпы...

– Вы это, Анна Петровна, девятого мая студентам расскажите.

– Лучше нашему заведующему расскажу. Ему это ближе.

А еще Анна Петровна любила два-три раза за лето бывать на даче у Анны Ивановны. Приходила она к Анне Ивановне на дачу не ради ягод или яблок, ей хотелось усесться в

скрипучем плетеном кресле под яблоней, пить чай и ничего не делать. Муравьишка по столу бежит, листочек падает в сухарницу... Ветерок шевелит салфетку, и всякие мысли приходят сами собой. И даже если они о бренности бытия, они так успокаивают, так согревают душу. А если в этот момент еще прострекочет сорока, так и совсем хорошо. Анна Петровна любила сорок. Сороки были красивы, как девушки в народном хоре.

Анна Ивановна и Анна Петровна были в том возрасте и состоянии ума, когда могли судить о мире не с чьей-то подачи, а сами по себе. Как назвать двух умиротворенных беседой женщин, чей закат тоже не за горами – богинями мудрости? Закат их будет, разумеется, не так красив, но это не мешает им чувствовать ускользающую красоту.

Молчание не тяготило их. А беседа не раздражала. Так не всегда бывает даже в детстве, а им вот Бог послал такую радость и в зрелые годы. Молчали они обычно, когда солнце на их глазах погружалось за линию горизонта. Это занимало несколько минут. После этого они не спешили зажечь электрический свет, а любовались удивительными оттенками закатного света, напоминающего угасание колокольного звона. Оттенки были неуловимы, как мечты или некоторые воспоминания. Как бы невзначай с их уст срывалось одно слово, второе, третье... И они спешили восполнить минуты молчания, причем каждая из них выкладывала другой не свою боль, а свою радость. Даже если радость и выросла на чер-

ноземе боли. Впрочем, в обычной жизни они не были столь сентиментальны и чутки.

Темы бесед их были естественны, как они сами в эти минуты. Разговор мог идти о чем угодно: от родинки на носу у нового заведующего кафедрой разведения до необыкновенных размеров семенников у быка-производителя бестужевской породы в племхозе.

Чувствовали себя они в эти минуты превосходно, даже если и донимала их с утра какая хвороба или возрастные недуги.

– Подумаешь, Памир крыша мира! Крыша мира, Анна Ивановна, ваша кухня!

– Вы, Анна Петровна, не попробовали еще вот этот пирожок.

– Анна Ивановна, ваше тесто просто изумительное! Во рту тает. В чем секрет?

– Секрета никакого. Готовить тесто некогда, беру его в столовой, добавляю туда яйца, сахар, ваниль, пачку растопленного маргарина...

– Не может быть!

– Да вы сами попробуйте, у вас еще лучше получится. У вас, Анна Петровна, прирожденные способности кулинара. Какой чай у вас! А сливянка!

– Вам, правда, понравилась?

– Скажите, как вы делаете ее?

– Это так же просто, Анна Ивановна, как и ваше тесто.

В Венгрии, кстати, научили. Беру водку, чернослив, сахар. Да, еще ваниль, если достанете. Смешиваю, ставлю в темное место. Изредка взбалтываю. Через пару недель процеживаю и – ваше здоровье!

– Я понимаю, весь секрет в пропорциях?

– Совершенно верно, вкус – это прежде всего пропорции. И щедрость. Чернослива и сахара надо побольше класть.

На время их беседа иногда прерывалась. Анна Петровна, извинившись, поднималась с табуретки, делала круг по квартире – ей нравились копии картин русских пейзажистов прошлого века, расположенные четко на одном уровне и с равными интервалами на стенах, – и скрывалась в ванной комнате, совмещенной с туалетом. Совмещенный санузел напоминал ей кафедру, где всё в одном месте.

То обстоятельство, что туалетная бумага, столь дефицитная в пору превышения спроса над ее предложением, а естественных отправлений над потреблением, была аккуратно разрезана на маленькие квадратики и заботливо уложена стопочкой на полке, а бумажные салфетки для придания им более оригинальной формы были аккуратно разрезаны по диагонали и свернуты кольцом, свидетельствовало не о скопидомстве и скупости домохозяйки, а скорее о ее домовитости и рачительности.

А потом они живо обсудили институтскую сплетню о старом доценте Сивцеве и молоденькой ассистентке Вражской, придумав для нее хорошее прозвище «Сивцева-Вражская».

Анна Ивановна любила показывать Анне Петровне свои фотографии. У нее был громадный альбом из листов плотной цветной бумаги с кружевными кармашками, в которые были вложены черно-белые фотографии по темам, годам и увлечениям. В центре каждой фотографии неизменно была сама Анна Ивановна, а на обороте было подписано, в каком году и каком месте они сделаны, и кто находится на них слева направо или справа налево. Коллективных фотографий на фоне корпуса санатория, горы, водопада или под раскидистым деревом было множество. Чувствовалось, что на подбор фотографий в этом необъятном альбоме большое влияние оказывала центробежная сила самодостаточности его хозяйки и ее связей во внешнем мире. Анна Петровна обратила внимание, что два листа в самом начале альбома были пустые, а в одном кармашке застрял уголок вырванной, должно быть, с ожесточением фотографии.

У Анны Петровны фотографии тоже были, но не так много и они были рассованы по разным конвертам без всякой систематизации, случайно захваченные центростремительной силой ее судьбы. Самой Анны Петровны на многих фотографиях и не было вовсе. Фотографии ей были ни к чему. Некогда их было разглядывать.

– Вы любите стихи? – неожиданно спросила Анна Ивановна.

– Что такое стихи? Это так, полет глупости.

– А почему же тогда он захватывает людей?

– Ну как почему? Все потому же. Почему полет птиц захватывает птиц? Потому полет глупости захватывает глупость.

Анна Ивановна, несмотря на то, что любила стихи, не знала, чем и возразить.

Всякий раз после ухода Анны Петровны Анна Ивановна чувствовала себя обделенной жизнью. Ей не довелось, как той, побывать за границей, хотя бы и воюя. Не довелось испытать жизненных потрясений, которые выдержит не всякий мужчина. Хотя и у меня не все так просто было в жизни, я просто не придавала этому такого значения, думала она.

Словно протестуя против этой мысли, защемило сердце и так вдруг стало тоскливо... Скорее бы Настя из школы пришла!

У Анны Ивановны, как у всякой неординарной женщины, разумеется, были свои тайны, но они так глубоко были спрятаны в недрах ее памяти, психики и совести, что она не позволяла заглянуть туда хоть краем глаза даже самой себе. И в такие дни, когда раздумья приходят не из тебя, а словно прилетают откуда-то, то ли из твоего предсмертного часа, то ли из первого часа мира иного, ей было тяжело, так как она чувствовала тяжесть спрятанных на дне души проблем и воспоминаний и понимала, что с каждым годом их будет все тяжелее и тяжелее нести.

И самый большой груз был невесом, так как он весь состоял из того, чего у нее не было: семьи, родителей, отчего дома,

своих и только своих любимых лиц, имен, игрушек. Ничего она этого не помнила. Не помнила и не хотела вспоминать!

Жизнь обделяет тех, кто боится ее, подумала Анна Ивановна, но не согласилась с собственной мыслью, так как она была противоестественной, то есть направленной против самой себя. Такое допускать нельзя, даже если оно и очевидно. Ведь я все в жизни делала так, как следовало делать, но почему же тогда жизнь не воздаст мне, как следует. Или она вот так и воздала – как следует?

Нет, нет, только не это, только не это, застонала она. Только не возврат к тому, что было у меня!

4. Кафедра

«Всегда быть правым, всегда идти напролом, ни в чем не сомневаясь, – разве не с помощью этих великих качеств тупость управляет миром?..» (У. Теккерей).

Такую записку Анна Петровна нашла у себя в понедельник, после первой пары. Она аккуратно лежала строго посередине стола и, чтоб не снес сквозняк, была придавлена календарем.

– Чьи художества? – спросила она лаборантку Тосю. – Не поленился кто-то печатными буквами изобразить. Каллиграф. Князь Мышкин.

– Что? – не поняла Тося.

– Кто тут был с утра?

– Ой, я не знаю, Анна Петровна. Я только что сама пришла.

Врет, подумала Анна Петровна. Это хорошо, что врет. Значит, эта уже в отсеv. Остались двенадцать. Впрочем, можно не трудиться. Все отсеvки. Эх, вас бы всех туда под Миус, где поливали нас в степи свинцом! Чтоб вы делали там без этих великих качеств? Грамотеи! Сами, небось, даже о «Ярмарке тщеславия» не слышали. Да и черт с вами! Она подчеркнула красным карандашом слово «тупость» и приколотла кнопками листок к доске объявлений. Подумала и написалась под текстом.

– Тося, передайте всем, пусть распишутся. С тем, что ознакомлены.

Возле деканата развернулась и пошла обратно. Тося что-то объясняла по телефону. Анна Петровна услышала слова «она уже ушла».

– Я снова пришла, Тося. Забыла сказать: открой окно, что-то воняет сильно у нас, – она наклонилась к телефонной трубке и громко и четко произнесла: – Да-да, воняет на нашей кафедре старым говном!

После обеда состоялось заседание кафедры, на котором обсуждался один вопрос: учебный процесс. Собственно, и жизнь можно свести к одному процессу – жить, и одному вопросу – как? Ответы будут самые разнообразные. На учебный процесс каждый сотрудник кафедры имел собственную точку зрения и каждый оспаривал ее так, будто кто-то другой оспаривал ее у него. Битый час выясняли разницу между прогулом по уважительной причине и по неуважительной. Анна Петровна воздерживалась от реплик, но наконец не выдержала и взорвалась:

– Зачем разбираться с этим? Это совершенно порочная классификация. По какой бы причине ни прогулял человек, в голове у него одинаково пусто. Надо не причины искать, а отработать прогулы. Я так полагаю, что вам больше говорить не о чем? Пусто?

Намек был явно провокационным. Анна Петровна была готова к бою. Ей очень хотелось сразиться сегодня со всеми

этими пресмыкающимися. Пора переименовывать кафедру. Не частной зоотехнии, а общего пресмыкательства.

– Анна Петровна! – постучал карандашом по графину заведующий. – Что вы себе позволяете?

– Я, Григорий Федорович, к сожалению, не могу себе позволить то, что позволяют себе другие.

– Чего же это?

– Подлости!

Общий шум стих. Слышно было, как в животе доцента Крылова забормотал алкогольный гастрит. Доцент придавил его рукой, отрыгнул и поморщился.

Анна Петровна с отвращением отвернулась от него.

– Вот этот товарищ... – она не глядя ткнула пальцем назад, целясь в Крылова. – Григорий Федорович, дайте ему воды. Его мучит отрыжка. Этот товарищ со знаменитой фамилией баснописца...

– Я бы попросил вас, Анна Петровна, – строго сказал Толоконников, – держаться в рамках приличий!

– Ах, в рамках приличий? Хорошо. В рамках так в рамках. Пусть доцент Крылов объяснит мне, по какому праву и в каких это рамках он наврал своему собутыльнику журналисту «Вечерки» Хорькову о том, что доцент Суэтина развалила всю учебную и воспитательную работу студентов?

– Врут без права, – заметил пересмешник Харитонов.

– С этим я совершенно согласна с вами, Вадим Сергеевич.

– По теме, по теме, Анна Петровна, – постучал каранда-

шом заведующий.

– Что вы все стучите? Я и так прекрасно все слышу. Я и говорю по теме. Разве развал учебной и воспитательной работы студентов не по теме?

– Доказательства? Что вы сотрясаете воздух? – Григорий Федорович встал, видимо, собираясь закрыть заседание.

– Доказательства? Вот они! – Анна Петровна бросила на стол заведующему газету, свернутую в трубку.

Тот, кривясь, развернул ее.

– Ну, что вы, право, так закрутили ее?

– Это вопрос, кто закрутил все это! – парировала Суэтина.

Заведующий вздохнул.

– Ну, где?

– Вы же видите, где. Там красным карандашом обведено.

– Анна Петровна, не надо мне указывать!

– А кто вам указывает? Вы и сами все прекрасно видите.

Читайте, читайте.

Заведующий протянул газету секретарю.

– Толя, прочтите, пожалуйста. Вслух. Где обведено.

«Доцент Суэтина А.П. все лето, вместо того, чтобы заниматься со студентами учебной практикой в учебном хозяйстве института, занималась бонитировкой лошадей в племхозе «Семеновский», а также...»

– Достаточно. Ясно, чтобы составить представление об авторах сей вдохновенной статьи! – воскликнула Анна Петровна.

– Может, все-таки дочитаем? – приятно улыбаясь, спросил Толоконников.

Суэтина махнула рукой. Дальше статья была выдержана в этом же тоне, а в конце был журналистский плач по бедному социалистическому хозяйству, в которое придут специалисты, прошедшие через руки таких преподавателей, как Суэтина А.П.

– Ну, и что же вам тут, Анна Петровна, не нравится? – спросил заведующий.

Похоже, он засучил рукава. Так я думала, отсюда ноги растут, из этой старой задницы.

– Что? Все не нравится! Хорошо. По порядку. Первый абзац. Корреспондент Хорьков, под руководством уважаемого доцента Крылова, изволит ерничать по поводу того, что доцент Суэтина занимается не учебной практикой, а бонитировкой лошадей. Это мог написать (и подсказать) человек, абсолютно не смыслящий не только в коневодстве, а и в животноводстве вообще! Что такое бонитировка? Григорий Федорович, я вас спрашиваю, как заведующего кафедрой частной зоотехнии! Что такое бонитировка, как не комплексная оценка сельскохозяйственных животных? Это что, не практика?

– Но тут же написано: не в учебном хозяйстве института, а в племхозе «Семеновский».

– Вы меня удивляете, Григорий Федорович! Где я вам, вернее, где я студентам в учхозе возьму лошадей? Я ими что,

уток наряжу? Или гусей? Гусь в попоне и с уздечкой! И под седлом!

Харитонов засмеялся. Заведующий строго посмотрел на него.

– Давайте без патетики, Анна Петровна. По сути.

– Тогда уж точно напишут, и не у нас, а в Москве. Лошадь последнюю у нас в сорок первом еще реквизировали, с тех пор не вернут никак. Довожу до вашего сведения, Григорий Федорович, что практические занятия со студентами на живых лошадях, а не на плакатах, как это делает уважаемый доцент Крылов, я провожу еще и в милиции, в конном отряде. Там, кстати, прекрасное отношение к лошадям. Лучше, чем к людям в иных местах.

Заведующий, чувствуя, что ему сегодня Суэтину не свалить, пользуясь правом сильного, усадил Анну Петровну, сказал резюме, совершенно не затрагивая тему газетной публикации, и распустил всех по домам.

Анна Петровна шла домой. Удивительно, она чувствовала себя не разбитой, а словно помолодевшей. Я вам покажу еще сто чертей, подумала она. Однако, как есть хочется!

В этот момент ее окликнул ассистент Харитонов.

– А вы не боитесь, Вадим Сергеевич?

– Чего я должен бояться, Анна Петровна?

– Не чего, а кого. Коллег – не боитесь? Сожрут, не подавятся. Вы бы подальше от меня шли. Заразная.

– Не боюсь, Анна Петровна. У них своя точка зрения, у

меня своя.

– У них своя? Вадим Сергеевич, не будьте так наивны, на кафедре все точки зрения растут из одного горшка, не буду говорить, с чем. Каждая своя точка зрения есть точка зрения ее заведующего. Это аксиома. Ее на первом курсе проходят.

– У меня все точки зрения слились в многоточие.

– Смотрите, как бы многоточие не разодрало вас на части.

– Думаю, не раздерет. Извините, мне кажется, вы мало кого уважаете на нашей кафедре.

– Вы правы, у меня нет сил заставить себя уважать тех людей, которым я никогда не сделала никакого зла, но от них получаю одну лишь подлость.

– Хотя среди них есть хорошо воспитанные люди...

– Когда тебе в лицо говорят одно, а в спину другое, это и называется «хорошим воспитанием»?

– Я не хотел бы сплетничать... Но они все считают вас... как бы это сказать...

– Так и говорите, – насмешливо посмотрела на него Анна Петровна. – Плохим человеком, что ли?

– Да, неудобным.

– Лучше остаться таким плохим, как я, чем стать таким хорошим, как они.

– Мне кажется, человек, даже очень хороший, не ко всем свят, и, несмотря на его непогрешимость, его все равно кто-то ненавидит и хочет сжить со света.

– Это туманно, Вадим Сергеевич. Расплывчато. Зло кон-

кретно. А подлость тем более. Да, человек не ко всем свят, это вы очень точно подметили. Но он всегда свят со святыми.

– Вы хотите сказать, что святости вообще нет?

– Я ничего не хочу сказать, – засмеялась Анна Петровна. – Кроме того, что с волками жить, по-волчьи выть. Другого языка они не понимают. Когда идешь к людям с открытой душой, в нее удобно плевать. Вадим Сергеевич, вот вы хоть и молоды еще, но уже достаточно опытный человек, скажите, как я должна относиться к доценту, к исполняющему обязанности доцента (пока!), который за последние десять лет берется неоднократно за науку, но гусыни, испытываемые ею на яйценокость, в конце опыта оказываются гусаками, а индюки, как столетние старцы, отказывают в сперме? Но самое печальное – она за десять лет не научилась литры переводить в килограммы. Это в молочном-то деле! Да ее в молочный отдел гастронома нельзя брать, не то что студентов учить! Студенты смеются. Они даже раз бастовали. Это еще до вас было. Пришли в деканат и заявили: не пойдем больше к... Словом, отказались от учебного процесса.

– Я знаю, вы о ком, – засмеялся Харитонов.

– Я тоже знаю, о ком я. Я их всех очень хорошо узнала за эти годы. Кстати, уж сплетничать, так до конца. Душа изнылась. Меня-то, знаю, как треплют. Лет пять назад смотрю, она выходит ближе к обеду из своего дома с женщиной. Не с мужем. Мужа-то я хорошо знаю. Поздоровалась с ними. Мужчина-то тоже наш, общий знакомый. По наивности

спросила – дело какое? Думала, по делу приходил. Квартиру меняю, говорит. Квартиру и квартиру. Только почему с ним? Ну, да не мое дело! А потом еще как-то встретила, еще... Уже пять лет все с тем же делом, все не сменит.

– Вам опасно попасть на язык! – засмеялся Харитонов.

– Мы-то поначалу были с ней в нейтральных водах. Но как не попросишь ее о каком-нибудь пустяковом одолжении (на кафедре, сами знаете, нельзя же без этого – то подменить-ся, то передать что-либо), нет, не может! Считает себя человеком особой судьбы и любые просьбы чего-нибудь сделать воспринимает как оскорбление. Ну, а потом, как вся эта камарилья началась, и вовсе стала моей первой (после «шефа») гонительницей.

– А вы не боитесь, Анна Петровна, что я все это передам ей?

– Не боюсь, Вадим Сергеевич. Я свое отбоялась. Она и так знает все это. Чует.

– Свой запах не чувуют.

– Это вы верно! Одно вам хочу сказать – вы мне симпатичны – горек кусок хлеба, а с ним приходится глотать и все непотребное. Мне туда.

– Мне тоже туда. Да, Анна Петровна, я хотел вам сказать спасибо за урок, который преподнесли мне впервые в жизни.

– Какой же?

– Не бояться чужих точек зрения.

– Опасный урок, Вадим Сергеевич. Можете и его свести

к многоточию.

– Нет, его я в рамочку возьму.

– Кстати, Вадим Сергеевич, не знаете случайно, кто мне бумажку с Теккереем на стол подбросил?

– Знаю. Но не скажу. Да вы сами знаете.

– Крылов.

– Я пошел. До свидания. Спасибо вам!

– И вам того же.

5. Камарилья

«Камарильей», если прибегнуть к книжному стилю, почти двести лет назад стали называть придворную клику интриганов, окружавших испанского короля Фердинанда VII и фильтровавших доходы Испании через свой карман. Пример заразителен, но не нов. Этот термин с годами приобрел еще большую актуальность, благодаря скрытым в нем резервам и возможностям его непосредственных участников.

В нашей стране камарилья, как всякое экзотическое растение, разумеется, не прижилась в чистом виде. Потребовалось районирование, то есть участие в «приживании» и распространении этого злака первых лиц государства.

У Анны Петровны был, правда, еще один термин, которым она исчерпывающе характеризовала положение вещей: «бардак», не имеющий никакого отношения к поэтическому творчеству, но ограничимся «камарильей», как более книжным словом. При этом не забудем чисто российский оттенок его – клика не вокруг государя, а клика во главе с государем. То есть государь не описан, а вписан. А в терминах Анны Петровны Суэтиной это еще была не просто сама клика, обстрипывающая свои дела, а и весь сладостный процесс приготовления и расхлебывания служебной заварухи, со собственными всякой кухне гарью, отбросами и прихлебателями.

Камарилью на кафедре затеяли два человека год назад. Почти за два года до конкурса Анны Петровны Суэтиной.

До этого жизнь на кафедре шла своим чередом: вяло, привычно, незаметно, с дрызгами, сплетнями и мышшиной возней. Всё было на своих местах и все были на своих местах. Поскольку коллектив всегда и везде состоит из совершенно разных по характеру и способностям людей, но одинаково желающих кушать, из этого постулата можно сделать вывод о том, что он (коллектив) обкатывает любого. А если нет, то, по выражению Анны Петровны, – в отсев! Жаль, коллектив не отсеешь!

Конкурс должен был состояться через восемь месяцев. Вот тут и все средства стали хороши. Григорий Федорович Толоконников был тертый калач в искусстве управления коллективом. И хотя он был старше Анны Петровны всего на восемь лет, это была очень большая разница. Разница в возрасте руководителя и подчиненного обычно пропорциональна квадрату разницы в их служебном положении. Толоконников себя чувствовал патриархом и вел дела на кафедре, как хотел. Тут ничего не поделаешь, его право. А поскольку года позволяли ему еще лет двадцать с почетом занимать это место, понятно, стремление не упустить эту возможность и подвигало его на всякие мыслимые и немыслимые авантюры. Тыл со стороны ректората, Ученого совета, парткома и прочих организаций у него был прикрыт надежно, поскольку, всем известно, заведующего кафедрой, не угодного ты-

ду, просто не назначают. Имея это, Григорий Федорович, естественно, надеялся на взаимопонимание и во вверенном ему коллективе. Вы мне, я вам, всё пополам. Когда коллектив послушно исполнял отведенную ему роль, пьеса доставляла одно только удовольствие. Хоть глянцевую афишку вешай над входом: «Бенефис профессора Г.Ф. Толоконникова».

Но когда Анна Петровна Суэтина три года назад рьяно взялась за докторскую диссертацию и вот-вот ее добьет, когда она стала, что называется, рыть землю под ногами заведующего и все громче заявлять о своих правах, он этого не мог оставить без внимания. Дело в том, что докторов на кафедре не было, а профессор Толоконников (единственный профессор на кафедре) сам был всего лишь кандидатом сельскохозяйственных наук, хотя и этого было ему вполне достаточно, как говорится, выше крыши.

Год назад, предвидя сложности, заведующий и приблизил к себе вечно исполняющую обязанности доцента (и.о.), но очень шуструю и сообразительную, Веру Павловну Дрямову в качестве консультанта по женской части кафедры. В аспирантуру она попала в сорок восьмом году, когда кафедрой руководил профессор Дробышевский, даже не кандидат (звание ему присвоили за сумму заслуг в деле подготовки первоклассных специалистов-животноводов). От Дробышевского Толоконников научился многому, и многое у него перенял. Старый профессор умудрился руководить кафедрой без перерыва двадцать сложнейших в истории страны и

института лет!

Так вот, «старик Державин нас заметил» и принял в аспирантуру. Она выдержала конкурс не по причине увлечения наукой, а скорее всего по причине увлечения профессора. Диссертацией сам профессор ей помочь, к сожалению, не смог, но, дав ставку исполняющего обязанности доцента, такую возможность ей оставил. Мало ли, года многое меняют, не исключено, что и она незаметно наберет требуемую сумму заслуг и незаметно отбросит эти две букочки «и.о.» Профессора Дробышевского скоро пять лет как нет, но и.о. доцента перешла с рук на руки, не уронив чести и достоинства.

Ее и прочил Толоконников на место Суэтиной. Для этого надо было сделать за год незамысловатую двухходовку: Дрямовой защититься, а Суэтиной потерпеть в чем-либо фиаско. Элементарно, товарищи! Прделано не раз, и не два. Успех произрастает на почве фиаско, а фиаско люди терпят вследствие своего успеха. Для толкового человека здесь открывается бездна возможностей!

Толковых, правда, маловато, усмехнулся профессор Толоконников.

– Верочка, кровь из носа, через три месяца защита! Иначе будет невпротык.

– Гриша, а как же Федоров из ВАКа?

– Федоров Федоровым, а ты давай готовь материал к защите. У Харитоновы возьми, что недостает. Потом ему вернем, – усмехнулся Толоконников. – Промедление смерти по-

добно. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай.

– Что-то ты афоризмами заговорил.

– Заговоришь тут. Видела, что сегодня устроила?

– Да уж, кто б подумал?

– Подумал-подумал! Вот то-то и оно-то, что никто не подумал. Вспомни, сама что говорила о ней: солдафон, солдат в юбке, «пэпэжэ», еще – не буду уточнять.

– Ну, а Крылов что, не мог проверить, что Хорек написал?

– Это ты у него сама спроси. Напились, наверное, до порсячьего визга, проверишь тут! Надо браться за него, пока на партком не попал. Нечего сор из избы выносить. Организуй обсуждение. Один-два фактика. Опоздал вот двадцатого, прогулял двадцать седьмого... ты смотри, у него система – нарушения ровно через неделю!

– У него уже пять лет эта система, Гриша. По понедельникам.

– Вот и обсудим. Пожурим. Я, кстати, договорился, его полечат. Не все ж с этой Суэтиной балясы точить!

– Ну, а с ней ты что теперь думаешь делать? Статейка-то так, пшик. Больше ей на руку.

– Ничего, мы еще и из статейки этой не все высосали. Ей отлежаться надо, походить по верхним эшелонам, покрыться пылью и печатями. Бюрократия – великая вещь! А там посмотрим. А тем временем надо студентов организовать на какой-нибудь крестный ход, сорвать парочку занятий, что-нибудь подперчить по идеологической части. Тут ты у нас

умница, подумай. Моральный облик, чего там еще, дочерний долг, воспитание подрастающего поколения, хронический алкоголизм...

– Ну, ну! Куда хватил. Ты ей еще шпионаж припиши. Дробышевского вспомнил? Она тут, милый, чисто алмаз, не подкапашься. Я уж наводила справки.

– А чего ж сама о ней трепалась тогда – «пэпэжэ»? «пэпэжэ»?

– Это ты меня спрашиваешь, чего?

– Ладно, поищи-поищи. Кто ищет, тот всегда чего-нибудь найдет.

В этот день у Анны Петровны было восемь часов занятий. После занятий еще битый час помогала освоить оболтусам «зубы». Только собралась домой идти, заходит Толоконников и с иудиной ухмылочкой раскланивается.

– Мы виделись? Ну, здравствуйте.

– Ну, здравствуйте, – поздоровалась и она.

И отвернулась. Кто-то спер справочник... Как мелко! Под пиджаком, наверное, унес.

– Анна Петровна, студенты хвалят, как вы руководите ими, вот тут три дипломника – надо выручать кафедру, берите и руководите. Крылова два месяца не будет, месяц в больнице, потом курорт.

– Заслужил. Мне, что ли, запить? Это, Григорий Федорович, превышает мою нагрузку. Что, других нет?

– Дипломники у всех есть. И у всех нагрузка.
– У меня тоже двое.
– Вот, как говорится, копейка к копейке будет алтын.

– У кого?

– Что у кого?

– Да все вы понимаете. Алтын – у кого будет? У вас?

– Опять вы за старое, – вздохнул заведующий. – Я к вам всей душой...

– Я вижу. Душно сразу стало.

Толоконников развел руками. Эту дамочку трудно переговорить. Ну, где словом нельзя, делом можно. Переделаем. Он мрачно взглянул на хорошо сохранившуюся спортивного сложения Суэтину и, не прощаясь, покинул кафедру. Ей только рукава засучить и автомат в руки, подумал он. В дверях бросил:

– Значит, решили. Дипломники ваши!

Анна Петровна в раздражении сломала карандаш. Вот же иуда! Где только может, напакостит! И так как проклятая, ни сна, ни отдыха, еще трех дипломников всучил! Ведь знает, знает «шеф», что я с дипломниками, в отличие от все прочих, вожусь, не считаясь с собственным временем, и выпускаю их на защиту, как на кандидатскую.

Весь следующий день, свободный от занятий, был занят конференцией. Докладов, как всегда, было много, и, как всегда, мало толковых. Все на скорую руку. Абы как. Господи, куда катимся? Куда катимся? Лишь бы отметиться, лишь бы

галочку поставить! Да и не слушал никто доклады. Каждый был занят собой, своим делом или бездельем, каждый тянул до вечера, как тянет подбитый самолет до полосы. Что же, назавтра и взлетать не намерены, господа? Понравилось одно выступление о производстве птицы, хотела задать вопрос, подняла руку, поднялась, стоя подала голос, но Толоконников (он председательствовал) грубо осадил ее, выкрикнув:

– В письменной форме! Пожалуйста, следующий!

И тут же сам стал прерывать докладчика, седого ассистента с кафедры физиологии, и учить его построению доклада. Так вот, товарищ ассистент, дожил до седин, а – никто, не рыпайся! Слушай Толоконникова, он профессор, он знает. Не вытерпела, и когда Толоконников в самом начале следующего выступления перебил докладчика и задал ему вопрос, совпавший с вопросом с места Агоняна, громко на весь зал произнесла:

– Вопросы подаются в письменной форме!

В зале послышался смешок, а у Толоконникова от ярости потемнел даже костюм.

После заседания он кратко подвел итоги. Уделил внимание и Суэтиной.

– На реплику Анны Петровны отвечаю: я задавал по ходу! Суэтина парировала:

– Я ее посылала не только в ваш адрес.

Они столкнулись в этот вечер еще и на кафедре.

– Как же так, Григорий Федорович, при такой чувстви-

тельности вы так легко обижаете других?

– Вы о чем это, Анна Петровна? – сухо спросил заведующий.

– Вас покорило от моей реплики, а ведь я просто вернула ее вам. Надо и к другим быть таким же чувствительным. Или вы полагаете, что вы из другого теста? К тому же, я все не вам бросила реплику, а Агоняну. Так что ваш авторитет я не подорвала. Это выше моих сил.

– Вы о моем авторитете не беспокойтесь! – профессор вышел и хлопнул дверью.

Тося зажалась в углу, как мышь. Только глазки сверкали. Сиди-сиди там, подумала Анна Петровна. Может, не сожрут.

В полночь Анна Петровна взяла ручку и стала писать письмо.

«Как он быстро пролетел, этот день, опять «завтра». Не успел сказать еще «сегодня», не успел почувствовать сладость и свежесть этого слова, как чувствуешь его горечь и труху. Куда спешишь ты, как невзнузданная кобылица, неутомимое время? Куда уносишь ты меня из бытия? Остановись, какое ты есть, дай надышаться тобой вдосталь, дай рассмотреть тебя, запомнить твои призрачные черты. Куда стремишься ты, невесомое, неощутимое, как сон, неповторимое? Где твой привал, где подаришь ты мне вечный покой?»

Впрочем, человек, прожив сто лет, совершенно не очаровывается этим.

Вспомнилось:

– Я давно хочу вас спросить, Анна Петровна, почему вы о себе говорите в мужском роде: «сидел», «смотрел»?

Да, да, «сидел», «смотрел», «не успел». Кому же я написала-то? Некому, что ли? Теткам в Белой Калитве? Так им деньги нужней. Как и Брянску.

И вот, когда она уже почти победила всю эту камарилью, когда ни Толоконников, ни Дрямова не знали, какую пакость придумать еще, а Крылову вместо сна стали являться персонажи басен великого однофамильца, Анна Петровна допустила непростительную оплошность. Прокол, как говорят бюрократы. Она решила вдруг сделать портрет сына. То есть буквально потрет, писанный масляными красками на холсте. Минутная слабость, инстинкт материнства.

Хотя это еще бабушка надвое сказала – победила бы она камарилью или сама легла в этой битве костью? Коллектив победить очень трудно. Везде, всегда и во всем побеждает, как правило, коллективный разум, который равноудален как от индивидуального, так и от мирового сознания.

6. Петя Сорокин и беременный воробей

Анне Петровне очень хотелось иметь портрет сына в масле. Иному сердцу больше говорит отварной картофель в сардиновом масле или тонкие ломтики редьки в прованском, но материнскому – подавай непременно портрет сына в масле. Масло больше подходит для лица, даже детского. Лучше ложится на него, рельефнее лепит образ. И хранится масло подольше акварели. Акварель к тому же жидковата, подтеки дает и портит узнаваемость родных черт. Акварелью пусть сирень да мартовский снег пишут. Скоро Женечке шестнадцать лет. Еще чуть-чуть и станет большим человеком. Его портрет украсит стену музея, экскурсовод станет рассказывать о детстве сына, а заодно вспомнит и обо мне... – расчувствовалась Анна Петровна. – И мы опять будем вместе, спустя столько лет...

Анна Петровна отпуск и командировки проводила с пользой для кругозора: посещала выставки, музеи, картинные галереи, ходила в театры и на концерты. Вследствие этого кругозор ее был достаточно широк, а в самом центре его, как игла циркуля, было собственное мнение в виде острой пронзительной точки, уходящей для придания равновесия в жизни чуть ли не в самый мозжечок. Это мнение позволяло ей судить обо всем на свете, и не всегда тривиально. Надо отме-

тить, что кругозор у Анны Петровны был идеально круглым. В частности, ей нравились портреты, исполненные в классическом стиле. Без всяких там углов и кубиков, которые, чтобы понять, надо рассматривать либо свернув себе голову, как гусь на прилавке, либо издали в подзорную трубу, словно князь Багратион.

Она и сама с детства посещала всякие рисовальные кружки и добилась там определенных успехов.

(Слово «определенные» ей нравилось за четкую привязку к слову «успехи». В те годы определенные успехи были во всем. Оставалось лишь дойти до котлет. На Анну Петровну порой находила злость на жизнь, в которой не осталось котлет. Но котлет купишь два десятка, и злость проходит. Ничего странного в отсутствии котлет не было. В то время, когда все было дешевым, а «дорогим» был лишь Никита Сергеевич, котлеты могли позволить себе все).

В институте Анна Петровна тоже пробовала рисовать, ей даже предлагали поступать в училище, но раз поприще зоотехника выбрано – тут не до живописи. Это поприще живописно само по себе – специалисты не дадут соврать.

Нашелся и художник для Жениного портрета. Не просто, а «скорочлен» Союза художников (он так и говорил: «Я буду скоро членом Союза художников», за что его и прозвали «скорочленом»). Институт был большой и, понятно, в нем был свой соразмерный институту художник. Художник Гурьянов жил неподалеку, на Ипподромской, и они часто

встречались то в магазине, то на улице. Николай Федорович был тоже в годках, которые, полагал, предназначены не для него, имел сына примерно того же возраста, что и Женя. Да-да, вспомнила она, как-то они сидели рядом на школьном концерте. Гурьянов шумно рукоплескал, когда его сын прочитал свои стишки, а потом встал и раскланялся. Общественности было известно также, что Николай Федорович находился под обаянием гоголевских «Мертвых душ», и любимая присказка его была: «Беременный воробей!», которую употреблял он по малейшему поводу. Чем-то ему досадила Елизавета Воробей, та, которую всучил Чичикову Собакевич.

Больше о нем Анна Петровна ничего не знала. Говорили, выпивать любит. Ну, это не новость. Живописцу – да не пить? Гурьянов писал маслом профессорско-преподавательский состав, и за пять лет он у него достиг размеров железнодорожного. В год он писал по двенадцать портретов и уже подумывал, не создать ли цикл под названием «Время учебного года». Если бы им заинтересовалась какая-либо галерея, он мог бы заполнить ее под крышу. В начале учебного года он развешивал картины в коридоре возле деканата зоофака, соблюдая субординацию и пол. Как поднимешься с лестницы, направо от деканата к окну в глубине коридора шли мужские портреты, а налево к лестнице женские. Возле самых дверей деканата располагались изображения декана, его замов, двух профессоров, секретаря парт-

организации. Далее шли портреты менее именитых современников по их значимости. Мало-мальски разбирающийся в технике живописи человек наверняка отметил бы любопытную закономерность полотен мастера: толщина и густота красок была положена на них согласно заслугам человека. Первокурсники со страхом глядели на грозного, как поверхность беспокойного моря, декана и важных, как морская пучина, профессоров, а прочие студенты любили угадывать по портретам фамилии, регулярно подрисовывали декану усы, которые тот сбрил лет двадцать назад, а под портретом молодой ассистентки Александры Шуваловой, чей озорной взгляд не смогла загладить даже кисть художника, возобновляли подпись: «Коля любит Шуру». А последний набор студентов и вовсе оборзел и написал: «Коля Гурьянов любит Шуру Шувалову».

Николай Федорович до этого работал на заводе в одном из основных цехов художником. В его обязанности входило написание объявлений для руководства цеха, цехкома, комсомольского и партийного бюро, всяких организаций и комиссий, включая женские, выпуск всевозможных листов, молний, прожекторов, вырезание трафаретов для маркировки труб, баков, емкостей, громадной номенклатуры изготавливаемых контейнеров, отправляемых по всем уголкам страны и за рубеж, а к праздникам и юбилеям на нем была еще стенная газета, стенды, транспаранты и цветочки с флажками.

Все это, вкупе с удушливо-прогорклой атмосферой гула, ругани и машинного масла, ежедневно травмировали утонченную натуру Гурьянова. При всей дородности Николая Федоровича и богатой природной внешности натуру он имел поистине утонченную, чем и брал за живое представительниц слабого пола. То, что он был эгоист до мозга костей, только усиливало его привлекательность. Дамы полагают, что эгоизм у мужчины как-то связан с его загадочностью, а значит, непредсказуемостью поступков, которые одни только дают остроту чувствам и приносят наслаждение. Что ж, и эта точка зрения имеет право на жизнь. Она лелеет надежду, что не все еще потеряно, если ваш суженый эгоист.

Должность его называлась «аппаратчик шестого разряда», но для всех, и прежде всего для самого себя, он был «художником». Руководству цеха, всем общественным и политическим организациям, просто людям и потребителям заводской продукции нравилась добросовестная работа Гурьянова, и никто ни разу не высказывал ему претензий по качеству его рисунков, трафаретов или ежедневных объявлений. А за стенгазету его несколько раз благодарили и даже занесли в заводскую «Книгу почета».

Гурьянов с завода уволился после того, как однажды в столовой невольно подслушал разговор нового начальника цеха с работником ПТО. Они сидели за соседним столиком, и новый начальник цеха скорее всего Гурьянова не заметил.

– Ну, как встретил цех нового начальника? – поинтересо-

вался за селедочкой «конторский».

– Стоя, долго не смолкающими аплодисментами, – новый начальник шумно хлебал постный суп. – Как из лужи! – он отодвинул тарелку в сторону.

– Вкусы меняешь? Интересное-то было что-нибудь?

– Все интересно... Мастера, токаря, электрики. Очень интересные. А интересней всего план давать. Аппаратчик один, трафареты вырезает – художник...

– Художник? Школа искусств?

– Школа-школа. Приходи, покажу. Во вторник контейнеры отправляли в Венгрию. Гляжу, в слове «ТИП» буква «И» написана, как латинская «N».

– Художник из Рима?

– Из Венеции. Как же так, говорю мастеру, венгры рекламу пришлют, они же вредные! Глядишь, еще пугч один сделают. Мастер руками разводит: ошибся, мол, художник. Я ему: художники не ошибаются – у них свое виденье мира. Озадачил беднягу. В конце смены звонит мне: поговорил с Гурьяновым, так это того, у него точно такое виденье. С Гурьяновым, воскликнул я – азарт меня забрал, не тем ли самым Гурьяновым, которому в школе столько колов вlepили, что он из них потом частокол вокруг дома сбил? Мастер, умора – правда, что ли, спрашивает.

Конторский захохотал:

– Ну, ты, Сан Саныч, юморист. В газетенку тисну. Расскажу ребятам о твоём народном художнике.

Гурьянов не стал дальше слушать, подошел к столу нового начальника цеха и вылил тому в остатки гуляша свой компот, а «конторскому» сказал: «Рот закрой».

После этого Гурьянов, понятно, и уволился. Спустя многие годы «конторский» стал большой шишкой, но его так и называли «Ротзакрой», хотя никто уже и не помнил, почему, а вахтерша в его ведомстве уверяла, что так раньше называлась фабрика «Рот Фронт». Чего только не придумают!

Анна Петровна встретила Гурьянова в очереди за котлетами. В этот год мясомолочный скот опять дал лишь одни котлеты.

– Приходится вот по очередям стоять, – словно оправдываясь за мясомолочный скот, сказал Гурьянов. – Жена неважно себя чувствует.

– А когда вы в очереди, она чувствует себя лучше?

Вопрос получился не совсем тонкий, но Гурьянов просто-душно ответил:

– Лучше.

Анна Петровна, помявшись, спросила в лоб:

– Николай Федорович, не напишете портрет моего сына?

– Сына? – Гурьянов внимательно поглядел на Анну Петровну, как бы провидя в ее лице черты будущего портрета.

– Он, кстати, похож на меня. На совершеннолетие хочу подарить ему.

– Хм. Почему «не напишете»? Напишу, чего ж не написать? К двадцатому завершу портрет Хренова, займусь ва-

шим сыном. Дома, увы, работать не могу, стеснен, знаете ли, жена...

– Не беспокойтесь. Места хватит, и освещение хорошее. Если что, торшер подвинем.

– Это не обязательно, – снисходительно улыбнулся Николай Федорович. – Главное метраж. Квадратный метр полотна хорошо получается на пятнадцати квадратах пола. У вас как? Двадцать два? Отлично. Юноша под торшером – а что, оригинально.

– Торшер немецкий.

Двадцать первого числа Гурьянов пришел к Суэтиным с мольбертом и чемоданчиком, в котором были краски, кисти, тряпки, пузырьки и прочий художнический хлам. Вопреки ожиданиям, связанным с завершением предыдущего портрета, лицо Гурьянова было гладкое, готовое к новым раздумьям над новым полотном. Усы и бородка уравнивали черную с проседью волну волос над широким лбом. Анна Петровна по случаю «закладки портрета» испекла пирог с потрошками по рецепту Анны Ивановны и к нему поставила на стол графинчик сливянки собственного «розлива». Николай Федорович пришел прямо с работы, уставший, и, разумеется, Анна Петровна тут же, как всякого голодного мужчину, посадила его за стол. Пирог имел необыкновенный успех, а сливянка шла, как по маслу. Анна Петровна млела от аппетита Гурьянова и его поучительных и пикантных историй о контрасте жизни парижской богемы и российских передвиж-

ников. Он ей кого-то напоминал, о ком в памяти остались самые приятные воспоминания, но она никак не могла припомнить их. Когда на большой фарфоровой тарелке из остатков трофейного немецкого сервиза от пирога остались два треугольника, а графин опустел, то есть уже в начале девятого, Николай Федорович откинулся на стуле, вынул из коробка спичку и, сыто жмурясь, спросил бархатным баритоном:

– Ну, и где же сын?

– Я тут, – тут же с кухни отозвался Евгений. Признаться, ему наскучило уже «делать уроки». Успел дочитать «Одиссею капитана Блада». Он сидел так, что обеденный стол был виден лучше, чем кухонный.

– Подь сюда, атлет. Дай чувства глазу живописца! Хорош. Хорош! Хороший получится портрет. Евгений? Портрет Евгения. Во взгляде мысль. Черты лица юны, но определены, а главное – вижу – это не последний его портрет, не последний! Но – первый!

– Вы нам льстите, – вырвалось у Анны Петровны.

– Бросьте, это вы льстите мне!

Сливянка, похоже, стала проявлять себя в свойственной ей манере и соразмерно количеству, помноженному на качество, и, судя по метражу комнаты, могла подвинуть художника на полотно размером метр десять на метр сорок.

– День сегодня замечательный! – воскликнул Гурьянов, глядя на торшер. – Немецкий, говорите? Замечательный торшер. Пожалуй, так: портрет юноши под немецким торшером.

– Русский юноша под немецким торшером, – поправил юноша.

– Однако! – воскликнул живописец. – Ироничен!

– Аусгецайхнет. Замечательно, – сказал Евгений. – Отобразайте!

Отобразить иронию, к сожалению, с наскоку не удалось, как и все остальное, поэтому остаток первого вечера был посвящен мысленной лепке образа и ярким словам о творческом порыве, который надо не упустить, но который нельзя и торопить. Из красивых слов можно было, конечно, сшить поэму в триста строк, но на холст их было никак не натянуть. На полтора квадратных метра.

На второй вечер после сеанса, совмещенного с ужином, Гурьянов в начале одиннадцатого не без иронии стал рассказывать о том, как он летом в свой отпуск вместе с приятелем, председателем какого-то РАПО, изготавливал по области бюстики вождя. Бюстики пользовались неслыханным спросом. Как оказалось, они нужны были всюду.

– Я решил, что их изготавливают впрок, – сказал Гурьянов и сделал круглыми глаза и зажал себе рот широкой, испачканной в краске ладонью. Из-под ладони смешно торчала борода.

Каждый бюстик оплачивался от двадцати до пятидесяти рублей за штуку, в зависимости от величины и ракурса. В основном это были бюстики двадцатирублевого и пятидесятирублевого достоинства. Пятидесятирублевые были выгод-

нее, но с ними было мороки раза в три больше, чем с двадцатирублевыми.

– Шубу жене купил и на полмотоцикла денег набрал, – похвастал Гурьянов.

Анна Петровна недоумевала:

– Как можно делать его за деньги?! – звенел ее голос.

– Да кто ж его будет лепить без денег? – бархатисто недоумевал Гурьянов.

– Но зачем столько бюстов?

– Каждому, ка-аждому...

– Что, впрок?

– Будут внуки потом. Все опять повторится сначала, – спел художник.

– Каждому нужны игрушки, – вставил Женя.

После трех сеансов портрет удалился от оригинала, как электричка на три остановки. Женя терпеливо позировал, Гурьянов старался, но у него ничего не получалось. Особенно он не расстраивался.

– С трех раз редко получается, – говорил Николай Федорович. – Это только в сказках все с третьего раза... Обычно к пятому-шестому сеансу только начинаешь схватывать суть образа... Может, юношу, того, отправить куда? К приятелям? В кино? Или к девушкам? А что?

– Зачем? – не поняла Анна Петровна. – Бог с вами! Какие девушки? А как же образ без него?

– Смотрите, – пожал плечами портретист и вполголоса за-

пел густым баритоном: – Уймитесь, волнения страсти! Засни, безнадежное сердце! Я верю, я стражду, – душа истомилась в разлуке; я стражду, я плачу, – не выплакать горя в слезах...

Анна Петровна, с замиранием сердца, прижав руки к груди и закрыв глаза, стояла на кухне и отдавалась на волю звуковых волн композитора М. Глинки на слова Н. Кукольника.

Каждый раз художник наносил на холст толстым слоем краски (густо, как на портрет профессора) и каждый раз их соскабливал. С портрета на мать смотрел глазами праведника не ироничный Женечка, а неизвестный юноша с лицом отличника и круглым, а не острым подбородком. И третий сеанс завершился графинчиком сливянки и пространными рассуждениями на ночь о пользе вдохновения. Женьке это нравилось больше, чем уроки. Гурьянов покидал Суэтиных часов в одиннадцать вечера.

– Жена не будет беспокоиться? – беспокоилась Анна Петровна. Вчера она подвела часы на десять минут назад – Женька видел это.

– Пустяк! – добродушно отмахивался художник. – Ей должно быть хорошо. Сливянка – нечто! Оревуар! Пардон, а-ревуар!

Гурьянов, напевая, уходил, а Анна Петровна, не закрывая входную дверь, стояла в прихожей и прислушивалась, как удаляются тяжелые шаги, как угасают неугасимые слова: «Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним

прижаться сейчас губами...» А потом с блестящими глазами убирала посуду и силилась вспомнить, кого же ей напоминает Николай Федорович.

– Петя Сорокин, – сказал Женя, рассмотрев после четвертого сеанса свою очередную копию.

– Что? – не понял Гурьянов, хотя все понял.

– Петя Сорокин, говорю, – мальчик ткнул в подбородок копии пальцем. – Вылитый Петя Сорокин.

– Кто такой? – бодро спросил Гурьянов.

– Никто. Отличник из десятого «Б».

– Беременный воробей!

– Ма, где там у нас была сливянка? Для вдохновения.

– Умница, – похвалил юношу, как собаку, художник и откинул черную с проседью волну со лба.

– Ма, мы тут посоветовались и решили, что Николай Федорович возьмет портрет на выставку.

Анна Петровна с тревогой глядела на сына, на портрет, на художника. Ей ни с кем не хотелось расставаться. Но портрет не хотел совпадать с ее точкой зрения, и она не знала, что теперь делать.

– Деньги-то возьмите, – протянула Анна Петровна двадцать пять рублей, но Гурьянов категорически отказался.

– Нет, это портрет для выставки. Это не для денег. Арревуар! Пардон, о-ревуар!

Портрет на выставке побывал. Под ним была подпись «Петя Сорокин». Женю Суэтина на нем было узнать невозмож-

но, а у Анны Петровны с тех пор радужные надежды на портрет сына в музее стали потихоньку таять, а тревога после всякий случайной встречи с Гурьяновым возрастать...

7. О том, как поссорились Анна Ивановна с Анной Петровной

– Я теперь Тимошку перед сном прогуливаю, – сказала Анна Ивановна. – Приходится на поводке таскать – удержу на него нет.

Анна Петровна не переносила собак дома. Она подкармливала их под топольком, но собаку в дом? Увольте! Она уныло выслушала подробности о собачьих потребностях.

– Вчера Гурьянова видела. И позавчера... Из вашего подъезда выходил, – Анна Ивановна вопрошающе глядела на Суэтину. – У вас был?

– Да, Женю рисовал, – сказала Анна Петровна. – Не получилось.

– У профессионала и не получилось? – в голосе Анны Ивановны послышалось злорадство.

Анна Петровна с удивлением взглянула на нее и пожала плечами:

– Видно, не смог что-то в Жене разглядеть. На это время надо, – вздохнула она.

Анна Ивановна понимающе улыбнулась. Конечно, разве может чужой глаз разглядеть то, что видит глаз материнский?

– Странно, он такой плодовитый портретист! Выставляться любит!

– В общении очень приятный человек. Простой. Но с чувством юмора.

– Юмора ему не занимать. Вы только подумайте! – воскликнула Анна Ивановна. – Снег пошел! Как рано в этом году.

Собственно, пришло время снега. Это, кстати, вчера вечером бросилось в глаза. Уже в сумерки начался буран. Серые листья задергались, закружились, как летучие мыши... Так что белый снег, голубушка, всегда после такого серого бурана выпадает. Анна Ивановна сама затеяла разговор о Гурьянове и что-то вдруг сама и замяла его. И ладно, подумала Анна Петровна. Хотя ей очень хотелось рассказать Анне Ивановне (она уже третий день хотела сделать это), какой тот умный и... да что греха таить, и обаятельный мужчина. Бездна обаяния и вкуса. А голос – чистый велюр! Анне Петровне хотелось говорить о художнике долго и в подробностях, как о заболевшем ребенке. Она вдруг вспомнила фильм, который смотрела месяца два назад у Анны Ивановны. Там тоже был художник, чем-то похожий на Гурьянова, любовь, домик на Волге... Она поняла теперь, кого он ей все время напоминал. И успокоилась. Белые хлопья снега мягко падали на еще черный теплый асфальт и тут же таяли, точно пронизывали асфальт насквозь и терялись в темной бездне. Странно, что падают хлопья, а не сыплет мелкий противный дождь и не порошит. Уже так привыкла к этому. Природе надоели, видно, все эти мелкие раздражители, успокоения захотелось...

– Николай Федорович так забавно рассказывал о том, как он этим летом делал под заказ бюстики Ленина... – не удержалась Анна Петровна.

– Бюстики Ленина? Пф-ф... Анна Петровна, меня этот художник и все его творчества абсолютно не интересуют! Найдём другую тему для разговора!

Анна Ивановна не смогла скрыть раздражение, и это больно задело Анну Петровну. Хорошо, он ей чем-то не нравится, но при чем тут она?

– Хорошо, Анна Ивановна, не будем о нем, – покорно сказала Суэтина. Но в покорности ее слышалось неодолимое упрямство. Анна Ивановна почувствовала это. Свой свояка видит издалека.

– Ну, что ж, – сказала Анненкова. – Пошла ужин готовить. Анна Ивановна собиралась зайти в магазин вместе с Анной Петровной, но то ли забыла об этом, то ли передумала.

Озадаченная Анна Петровна рассеянно осмотрела витрины, увязла в свинцовой очереди за котлетами и, ничего не купив, вернулась домой. Странно, очень странно ведет себя Анна Ивановна. Вожжа под хвост ей этот Гурьянов. Да ну его, в конце концов! Что, на нем свет клином сошелся? Не хватало из-за чужого мужика ссориться с единственным близким по душе человеком!

После ужина она легла раньше обычного на кровать и долго лежала без сна, стараясь не думать ни о чем и думая о Гурьянове. Почему он так неприятен Анненковой? Чего-то

тут не так. И тут же всплыла в памяти, как щепка, свинцовая очередь в гастрономе за котлетами. Вот она, покачиваясь, плывет к выходу из памяти. Значит, вовсе не свинцовая. Странно, что воспоминания о потраченном времени в очередях или на курорте дают абсолютно одинаковые ощущения. Наверное, потому, что и то, и это не стоят самих воспоминаний. Сами воспоминания, все равно о чем, одинаково дороги, как воспоминания, бывшие именно с тобой, и одинаково безразличны, как не имеющие к тебе уже никакого отношения. В очередях, пожалуй, еще интересней бывает. Облают, а то и под бок саданут... «Почему же все-таки Анна Ивановна так не хотела говорить о Гурьянове?» – задала Анна Петровна вопрос кому-то встретившемуся во сне и не расслышала ответа.

В субботу после коллоквиума и трех пар аудиторных занятий Анна Петровна была как выжатая губка и рада была тому, что плелась молчком домой одна. На разговор с кем бы то ни было она не имела никаких жизненных сил. А дома шаром покати, крошки хлебной нет. Неужели тащиться в магазин? Анна Петровна тоскливо глянула через дорогу и, решив, что не помрет без ужина, махнула рукой и пошла домой. Авось и найдется что. «Господи, а как же там Женечка?» – всколыхнулась в ней волна заботы, но тут же и опала, так как с Женечкой-то все сегодня было нормально. Он сегодня весь день был в гостях у Анны Ивановны. У Насти Ан-

ненковой сегодня был день рождения, тринадцать лет. Анна Ивановна сама пригласила его, зная о субботней нагрузке Анны Петровны. Надо бы зайти, нехорошо как-то получается. Жене уже шестнадцать. Как время летит! Уж два года знакомы с Анной Ивановной, а она ни словом не обмолвилась о своем муже. Где он? Был, не был? Анна Петровна подумала о своем муже и тут же успокоилась. Тоже, наверное, алкаш. Помер или у родственников, если не в канаве... Не будем муссировать эту тему. Подарю книжку, заодно и чаю у них попою. Анна Петровна достала из шкафа «Историю Тома Джонса, найдёныша» Генри Филдинга, купленную по случаю в Москве, и пошла к Анненковым.

Там уже все разошлись. Остались две девочки. Они шептались с Настей, хихикали и поглядывали на Женю. Ишь, покраснелись! Правильно, правильно, Женечка, не поддавайся на их уловки. Еще не такое будет! Женя, в стороне от веселых подруг (наверняка он даже не познакомился с ними), пользуясь возможностью, смотрел телевизор. Анна Петровна горделиво посмотрела на него, потом на девчат.

Уселись на кухне и стали пить чай с яблочным пирогом.

– Отменный пирог, Анна Ивановна. У меня сегодня маковой росинки во рту не было. Думала, не дотяну до конца третьей пары.

– Ой, да что же вы не сказали? У меня и салатов сколько, и курица!

И вот кухонный стол ломится от яств, стоит початая бу-

тылка вина, два фужера и легкая грусть в атмосфере кухни, грусть от еще одной вехи в жизни. Грусть, но вместе с тем и недосказанность.

– Вы меня простите, Анна Петровна, я вчера обещала вам пойти в магазин и не пошла. Голова что-то вдруг заболела, – сказала Анна Ивановна.

– Да что вы, какие там прощения? Нашли, за что прощение просить! Так бы вот все на Ученом совете друг перед другом извинения просить стали – то-то была бы потеха!

– Да-да, весь Совет только и извинялись бы!

– Больше проку было бы!

Обе смеялись. Хорошо смеяться, когда ребенку только тринадцать лет, когда он еще не упорхнул из дома. Вспархивает легко, а уже не вернуть.

– Хорошенькая она у вас. Глазенки точь-в-точь ваши, а носик нет.

– О, до паспорта еще три года! Подрастет, – Анна Ивановна явно не хотела развивать тему счастливого детства.

Зашел Женя.

– Посмотрел? Может, хочешь чего?

– Нет, спасибо. Я домой пойду. Устал.

– Устал! – рассмеялись обе женщины. – Он устал!

Женя недоуменно посмотрел на них.

– Иди-иди. Я тоже скоро приду. Дверь на щеколду не закрывай.

Анна Петровна рассказала, как однажды сын уснул и при-

шлось дверь с петель снимать, а он так и не проснулся.

– И стучали! И кричали! И по батарее снизу били! Ничего не слышал! Как убитый спал. А утром глаза округлил: а ты когда пришла, спрашивает.

– Илья Муромец какой-то! – смеялась Анна Ивановна.

– Да, в отца. Тот-то крепкий мужчина. Спился вот. Живет сейчас в своей деревне... У родни. Нищета!

– Я девочек провожу, – Анна Ивановна поднялась с табуретки. – Какую красивую книгу вы подарили, спасибо!

Она взяла ее в руки и вдруг побледнела. Невидящим взглядом посмотрела на Суэтину и вышла. «Что это с ней?» – подумала Анна Петровна.

– Да и я пойду, засиделась, – крикнула Суэтина вслед Анне Ивановне. И в прихожей добавила: – Замечательные у вас пироги.

– Чем богаты, тем и рады, – улыбнулась Анна Ивановна, но как-то сухо. Устала, должно быть, от колготы.

Остаток вечера и все воскресенье Анна Петровна не находила себе покоя. Все валилось из рук. Единственный выходной прошел насмарку. Ничего не подготовила ни к занятиям, ни по своей научной работе! Хоть бы борщ сварила, так и его не удосужилась сделать! Женька пропал где-то! Хоть бы булку хлеба матери принес! Анна Петровна в раздражении пошла за хлебом. Хлеба тоже не было. В воскресенье вечером так часто бывает, что его не бывает. Пришлось та-

щиться в столовку за тестом: может, осталось? В столовой она столкнулась с Гурьяновым.

– Вы тоже за тестом? – спросила она.

– За чем? Нет, я тут портрет пишу. Одной знатной поварихи, – судя по тембру голоса, портрету предшествовали и другие блюда. – А вот и она.

Из подсобного помещения вышли две толстушки, и одна подхватила Гурьянова под руку.

– Коля! – резанул по сердцу Анны Петровны чужой женский голос.

– До свидания, Анна Петровна! Привет Жене... Сорокину! – крикнул, обернувшись, «скорочлен».

Анна Петровна, забыв о тесте, возвращалась домой. Ей не хотелось идти домой. Ей никуда не хотелось идти. Но куда-то же надо было идти, куда-то же надо было нести себя! Себя, никому не нужную, никому не интересную, никому не желанную!

Что это со мной, опомнилась она на пороге своего дома. Совсем расклеилась. Она поднялась к себе и впервые за многие годы отругала сына зазря – шляется где-то без спросу! Тот забился с книгой в угол и просидел там до ночи.

– Темно, глаза испортишь, – не выдержала Анна Петровна.

Сын вздохнул, отложил книжку, сходил в туалет и, не ужиная, молчком лег спать.

Анна Петровна плакала до утра. Неделя рабочая обещала

быть интересной!

А в понедельник – новости сами летят к кому надо – она все узнала о Николае Федоровиче и широкой его душе. Шура рассказала, лаборантка, словно догадываясь о терзаниях Суэтиной. Лаборантки догадливый народ! Тем более старожилы этих мест.

Что привлекает женщин в творческих натурах? Трудно сказать.

Если типичный мужик, скажем, за день может играючи перекидать сотню мешков с картошкой, перепилить пять кубов леса, а потом за один присест умять поросенка с хреном или гуся с яблоками, опрокинув в себя при этом пару бутылок водки и пять литров пива, тут все понятно без слов. Особенно, если после этого он без лишних слов берется делать то, ради чего делал все предыдущее. Но когда типичный представитель творческих профессий, утомленный самим фактом своего существования, пальцем о палец не стукнувший для дома, вздымает очи горе и начинает сетовать на трудности жизни и на то, что его никто не понимает и никто не жалеет (будто эти никто разные люди), тут впору пожалеть женщину, которой он все это говорит, но... Ради Бога, не вздумайте делать этого! Она, как фурия, вцепится вам в горло. Ибо для нее нет никого красивее и сильнее на свете, чем этот бледный, доедаемый сомнениями и остеохондрозом слабак. Если же мужчина совмещает в себе задатки

и мужика и творца, тут туши свет и поскорей проваливай. Тебе там делать нечего, товарищ! Потому что такое бывает только в древнегреческих мифах и древнерусских былинах, где одни и те же герои с разными фамилиями и все они равноудалены от жизни.

В жизни же таким типичным мужиком (при всем при том типичным представителем творческих профессий) был Николай Федорович Гурьянов, и он знал себе цену, как брильянт чистой воды. Женщины, привыкшие к финтифлюшкам, от Гурьянова краснели и вздымали грудь, и ничего не могли с собой поделать. Удушливая волна (из известных стихов) накрывала их с головой. Играя взорами, они предоставляли себя в его трастовое управление, и он во всех случаях проявил себя выдающимся менеджером.

Обо всем этом и о том, что Николай Федорович осчастливил вниманием не только свою супругу Нину Васильевну, Анна Петровна узнала, увы, задним числом, когда волна накрыла уже и ее, закрутила и ушла, а теперь несла на своих гребнях в купальнике пятьдесят четвертого размера выдающуюся во всех местах повариху республики. Узнала она еще и о том, что практически под каждым женским портретом, включая престарелого проректора Софью Игнатьевну, можно было смело написать «Имя рек любит Колю». Такая вот получалась интересная выставка достижений. А еще (под страшным секретом) Шура поведала, что, оказывается, Настя Анненкова его дочь. Точно, конечно, не известно, но го-

ворят. Лет пятнадцать назад (еще при Дробышевском) такая романтическая история приключилась! Весь институт гудел, как улей.

После этого тревога не покидала Анну Петровну ни на минуту. Хоть миф сочиняй об этой тревоге треклятой и запечатлевой его на полотне в три квадратных метра жизни!

Когда во вторник она встретила Анну Ивановну, та спросила:

– Что же вы не заходите, Анна Петровна? Столько всего осталось с именин!

– Остатками не питаюсь, – поджав губы, произнесла Суэтина.

Когда сердце разбито, все разбито и все равно.

Когда разбито сердце, разбивается и судьба.

8. Кто не учится у жизни, того учит жизнь

Анненкова и Суэтина столкнулись в гастрономе – где еще сталкиваться гражданам, их телам и интересам? В гастрономе граждане сталкиваются, как корабли в порту. Было не разойтись. Криво улыбнулись, поздоровались, даже спросили друг друга про дела. Чего спрашивать про дела – как сажа бела, что у той, что у этой.

– Надо бы объясниться, Анна Ивановна.

– Надо, Анна Петровна.

Дома были дети, да и дома объясняться – хуже, чем сор из избы выгребать, в дом заметать придется. Решили, не откладывая, и объясниться на свежем воздухе. Лучше всего для этих целей подходила «кибитка». «Кибитка» привыкла ко всем отправлениям человеческого духа – в ней и целовались, в ней и затевали всякие коварства.

Во дворе под тремя кленами была беседка (или «кибитка»), где жильцы дома любили отдыхать от служебных и семейных забот. Заботы – такая препротивная материя, из которой впору саван шить. Мужчины и женщины, воспитанные в раздельном обучении, и отдыхали раздельно. Если «кибитку» первыми захватывали мужчины, они до глубокой ночи рубились в домино, играли в шахматы, пили пиво, портвейн, вермут, а женщины в это время довольствовались скамейка-

ми возле своих подъездов, под тополями, и разговор их, понятно, не был столь оживлен, как он бывал, когда плацдарм был в их распоряжении.

В этот вечер «кибитку» захватили мужчины.

– А1-А2, – сказал Баранов с кафедры математики.

Филиппов с кафедры разведения недоуменно посмотрел на него.

– Чего?

– Вон идут. Анна Ивановна – «А1». Анна Петровна – «А2». Ладья и конь.

– Ты ходи-ходи, – сказал «разведенец».

– Семеныч, чует сердце, неспроста сюда идут. Смотри, как несет их!

– Тебе шах.

Соперники склонились над шахматами.

– Шах и мат! – слышалось над их головами.

Шахматисты вздрогнули.

– Все ясно! – воскликнула Анненкова. – Следующая пара!

Анна Ивановна села на скамейку, выдавливая Баранова, тоже довольно широкого в кости. Филиппов встал без намеков. Такого еще под сводами «кибитки» не было. «Выдавленные» мужчины молча покинули беседку и направились по тропинке к четырнадцатому дому.

– Нет, я даже не знаю, что и сказать! – сказал Баранов, с удивлением глядя на Филиппова. Тот, как собака, тряс головой.

– Это форменное безобразие! – воскликнул Баранов, так направив свой возглас, чтобы было слышно на скамейках возле дома и не слышно в «кибитке».

– Да! Да! Да! – послал голос в землю Филиппов.

Скамейки выясняли, влияет или не влияет валерьянка на формирование яичек у подростков, а если влияет, то как. Услышав о безобразии, они заинтересовались. Сумерки стали гуще, но женские глаза светились сквозь них, как девичьи, подогретые предыдущей темой.

– Что? Что там? Что случилось? Хулиганы?

– Хулиганки, – тихо молвил Баранов и, не оборачивая головы, ткнул назад большим пальцем. – Анненкова с Суэтиной.

– Шахматы захватили, – пояснил Филиппов.

– А вы?

– А нас поперли! – сорвался на фальцет Баранов.

– Да как же это? – женщины опешили. У них так не получилось ни разу. Досадно было, что и говорить.

А у двух «захватчиц» состоялся крайне интересный разговор. Дамы, оккупировавшие скамейки возле подъездов, много отдали бы за то, чтобы послушать его, а Баранов с Филипповым в очередной раз подивились бы бабьей глупости. Во всяком случае, три клена, окружавшие «кибитку», перестали даже шевелить листьями и прислушивались к словам, от которых пробирал мороз по коре, как в декабре.

– Анна Ивановна, я решила объясниться с вами.

– Я вас слушаю.

– Нет, это я слушаю вас!

– Очень мило – она слушает...

– Анна Ивановна, не будем о присутствующих говорить в третьем лице.

– Не будем. Тогда уж и ничего дурного. Но и от первого лица я не собираюсь выступать здесь. Мы ведь пришли поговорить друг с другом, а не выслушивать мнения сторон. Слава богу, этого на Ученом совете хватает. Сегодня, как с ума все сошли.

– Олсуфьева сняли?

– Нет еще, но снимут. Так как же? Анна Петровна, инициатива ваша была, – Анна Ивановна взяла в руки белую и черную пешку, протянула Суэтиной белую.

– Ваш ход, сударыня. Вот же черт! Сюда, кажется, идут. Расставляйте свои. Быстрее!

Подошли оторвавшиеся от скамеек дамы, на время позабыв волнующий разговор о подростковых яичках.

– Играете? – сладко протянули они.

– Играем. Вам-то какое дело? – неучтиво бросила Анна Петровна, берясь за любимую фигуру коня. Анна Ивановна окинула подошедших взглядом, в котором отразилось недоумение по поводу столь неосторожных слов мастера Суэтиной.

– Нам – никакого, – менее сладко и менее протяжно ска-

зали дамы, но в голосе их появился металл.

– Вот и топайте отсюда! – по-солдафонски отрезала Суэтина. – Не мешайте игре! Жужжите по своим лавкам!

Возмущенные женщины воскликнули: «Это просто неслыханно!» – и с шумом вернулись на старые позиции.

– Анна Петровна, нельзя же так!

– Ой, достали! Чей ход-то?

– Ваш, – учтиво улыбнулась Анна Ивановна.

Суэтину это задело.

– Вот только не будем эти улыбочки ядовитые строить друг другу. Давайте без дипломатий. Анна Ивановна, я понимаю, тема, сама по себе, деликатная, но ее надо действительно закрыть.

– Можно и не открывать...

– Нет-нет, уже открыли. Рубикон перейден.

– О, головы не полетят? Все, я вся внимание.

– Анна Ивановна, – продолжила звенящим голосом Суэтина (Анненкова невольно подавила в себе иронию, поняв нешуточность намерений Анны Петровны), – мне уже две недели не дает покоя мысль, что вы подозреваете меня в неблагоприятном поступке и осуждаете за это! Поверьте, я далека от всяких интриг и не хотела бы, чтобы меня хоть кто-нибудь превратно понял или истолковал! Тем более, когда живем мы все... живем мы все в таком гадюшнике! – она махнула в сторону скамеек.

Анна Ивановна ошарашенно глядела на Суэтину.

– Анна Петровна, голубушка, да ни сном, ни духом! О чем вы? Какие подозрения и осуждения? Успокойтесь. Я-то думала...

– Что вы думали? – как в блице, среагировала Анна Петровна, наклоном головы и горящими глазами не оставляя Суэтиной время на раздумья. – Вы думали, что у меня с этим... живописцем!.. шуры-муры?! Да? – Анна Петровна закашлялась. – Если я одинокая женщина, то кто вам дал право судить меня по себе?

– Ну, знаете, Анна Петровна, я, кстати, тоже одинокая женщина и неделикатно с вашей стороны говорить мне это. И потом, вам, кто вам дал право говорить со мной таким тоном? И потом, что значит, по себе? Она, видите ли, как жена Юпитера, без подозрений, а мы – сами по себе, вали на нас, что хочешь!

– Кто жена Юпитера? Я жена Юпитера? Да он алкоголик несчастный, Юпитер ваш!

– Ваш, Анна Петровна, ваш!

Далее разговор, к сожалению, потерял всякую логическую нить и перешел на заурядную перепалку, лишённую всякого смысла, коими заполнен земной шар по самую крышку.

Не прощаясь, а в душе распрощавшись на всю оставшуюся жизнь, Анненкова и Суэтина разошлись из «кибитки» в разные стороны. Разошлись, как в море корабли. Анна Петровна пошла к двенадцатому дому, Анна Ивановна к четырнадцатому. И если Анна Петровна прошла мимо своей ска-

мейки быстро и молча, то Анна Ивановна возле своей задержалась и, вздыхая, долго объясняла что-то любопытным варварам, к которым подтянулись с вытянутыми лицами сударушки с прочих скамеек, одинаково жестких, как их судьба.

Шестьдесят второй год был в полном разгаре. Анна Петровна была совершенно выбита из колеи и на время забросила свою диссертацию. Вернее, диссертация забросила ее саму. Ведь нам только кажется, что мы то и дело заняты делом. Это дела занимают нас. Не верите? Зайдите в отдел кадров, там есть и ваше.

Стоило Анне Петровне только подумать о завтрашнем дне, институте, кафедре, занятиях, дипломниках, как тут же начинала чувствовать спицу, проткнувшую ее насквозь от левой лопатки. А если мысль устремлялась к заоблачным далям: обработке всей статистики, конкурсу, защите – спица начинала раскаляться и жечь огнем. Мысли же о судьбе и вовсе делали боль невыносимой. Вся грядущая жизнь оборачивалась в этот момент одной только болью, острой, жгучей, злой.

Так нельзя, так больше нельзя, решила Анна Петровна. На ее счастье сработал инстинкт самосохранения.

Она накапала тридцать капель корвалола в стакан с водой, выпила и, стараясь не делать резких движений, легла в постель. Все замерло в ней, даже негодование, даже злость, которые питали ее уже целый год. Неудивительно, что меня

весь день распирала злоба ко всему на свете, все пустяк, все суета, думала она. Порыв ветра, песок в лицо. Забыть и забытья. Пусть они грызут друг друга, пусть они пожирают сами себя, пусть наслаждаются своим триумфом, пусть это будет их триумф друг над другом – там не будет меня.

А ты, милая, подождешь, обратилась она к своей диссертации. Ничего с тобой не сделается. Не девушка. А то придется ложиться с тобой в могилу. Не надо. Полгодика подождешь... Месячишко-другой...

Анна Петровна избрала, быть может, единственно верную в ее положении тактику – не обсуждать ни с кем свои проблемы, а с «коллегами» молчать, как партизан. Она перестала участвовать во всех мероприятиях кафедры, кроме обязательных, ни с кем не разговаривала, не здоровалась (кроме Харитоновой) и по возможности старалась на кафедру не заходить, сразу шла в аудиторию. Раздевалась в гардеробе.

Как ни странно, это возымело действие. Сначала сотрудники кафедры не знали, что и делать от обиды, но и потом ничего не придумали. Надоело, и перестали обращать друг на друга внимание. На Толоконникова нашло просветление: он решил, что в такой вязкой борьбе победа может оказаться не на его стороне, и сходил к ректору. Переговорил с ним о штатном расписании на следующий год, о необходимости отправить в московскую аспирантуру способного Харитонова (договоренность с ВАСХНИЛ есть), двух новых спецкурсах и замене ассистентской строчки на доцентскую. Ректор

дал принципиальное согласие, с оговоркой: там посмотрим, сколько денег дадут.

Анна Петровна через месяц возобновила свою работу над диссертацией. По воскресеньям корпела, не вставая, по шестнадцать часов, а в будние дни посвящала ей любую свободную минуту. Поскольку она решила ни на что не реагировать и ничего не брать в голову, она следовала своему решению, и год для нее пролетел незаметно. Она даже толком не обратила внимание на то, что защитилась (с божьей помощью) Дрямова, а ее саму и Толоконникова переизбрали на новый срок. Когда она осознала произошедшие перемены, только подумала с облегчением: ну, теперь оставят в покое года на четыре. До следующего конкурса. Как раз докторскую защиту! Защиту, «мои хорошие», защиту!

– Анна Петровна, поздравляю вас! – обратился к ней на заседании кафедры заведующий. – Мы тут ходатайствовали, можно сказать. Ваш доклад будет представлен на Всесоюзной конференции в Киеве. Мы очень рады! Поздравляем!

Анна Петровна кивком головы поблагодарила его за поддержку. Должен же кто-то пропускать студентов через свои руки и выпускать в жизнь специалистов! Ведь жизнь рано или поздно учиняет с учителей свой спрос!

В московскую аспирантуру поступил Вадим Сергеевич Харитонов (в «Акомедию» наук, на прощание сказал он). И хотя без его острот на кафедре стало совсем серо, на сердце у Анны Петровны было светло: хороший человек не пропал,

как топляк в реке.

Все, решила для себя Анна Петровна Суэтина, не буду больше загадывать далеко наперед – себе дороже получается. И назад оглядываться тоже больше не буду. Буду ощущать себя в настоящем. А то и впрямь перестаешь понимать, что в жизни настоящее, а что нет.

Правильно, видишь только то, что видишь. Дальнее будущее может и не приблизиться или пройти стороной, как в окне вагона, а даже близкое прошлое уже мертво. Когда перед глазами жизнь, а в спину глядит смерть, это и есть настоящее. Поэтому никогда не надо оглядываться, никогда! Надо идти вперед!

Интермедия (1968 г.)

Запах портрета

Гурьянов любил мать и жалел ее. Она была несчастлива с отцом и всю свою невостребованную любовь изливала на сына. Он был для нее всем, светом в окошке, ее надеждой и гордостью. Успехи в школе, а потом и первые успехи в университете, публикация стихотворений наполняли ее гордостью. Когда она рассказывала своим знакомым о сыне, глаза ее светились непостижимым для многих счастьем, и она выглядела много моложе своих сорока девяти лет и достаточно устойчиво при всем своем неустойчивом состоянии. А с Аглаей Владиславовной они стали лучшими подругами и коротали свои одиночества в беседах о Лешеньке и Лермонтове (у Нины Васильевны Лермонтов незаметно вышел на первое место, потеснив Стефана Цвейга на второе).

Алексей посвятил матери свой первый сборник, написав просто и искренне: «Любимой мамочке». Нина Васильевна весь вечер читала стихи и после каждого глядела на посвящение и плакала. Отец вечером никуда не пошел и раздраженно ходил от телевизора к холодильнику. Алексею даже показалось на мгновение, что будь у телевизора дверка, он и ею бы непрерывно хлопал. Он, наконец, подошел к матери,

прочитал посвящение и хмыкнул:

– Ну, и чем ты так тронута? Надписью или стихами?

– А тебе-то что до этого? – воскликнула мать.

Алексея покоробили и задиристо-раздраженный вид отца, и сам вопрос, и тон, каким он был задан. Раздражение – против чего, против кого? Против него или матери? Или против стихов? Что это с ним? Ревнует, что ли?!

«Что они не разведутся?» – подумал Алексей и пожалел мать: всю жизнь мучается с отцом. Отца ему было совершенно не жалко. Поделом. Сам себе выбрал такую жизнь. Вне семьи так вне семьи. Хотя ему эта жизнь была явно к лицу. Как стал выставляться и писать по дюжине портретов за год, словно лаком покрылся и сбросил лет десять с погрузневших именно в эти годы плеч. Забронзовел, батя, заматерел. Пора табличку на дом вешать. Волосы потемнели. Красит, что ли?

«Не женюсь! Ни за что не женюсь! – поклялся сам себе Алексей. – Лучше женщин оставлять счастливыми, чем делать их несчастными».

У отца с женщинами все так естественно, как дыхание. Вдох-выдох. Познакомились-расстались. Как утренняя гимнастика на ночь. Вальсок крутанул по площадке. И все довольны. Даже мать. А на стенке новый портрет висит. Кистью мазнул, глазом моргнул и – я ваша тетя!

У Алексея, впрочем, то же самое получалось еще проще и естественнее, чем у отца. По молодости, наверное. Да и большая часть жизни отца прошла в других исторических

условиях: война, разруха, нищета... Не тот колер был.

Да-да, Аглая Владиславовна, я раньше начал, кончу ранее... Надо ей свой первый сборник преподнести. Моей первой и единственной учительнице, пожалуй, напишу так.

Внешностью, голосом, глазами, скрытной, но прорывающейся в каждом движении страстностью Алексей был очень похож на отца, и Нина Васильевна со страхом ожидала от него повторения и продолжения «художеств» мужа. Они у него будут еще сильнее, если судить по таланту, который отпустил ему Бог.

Так оно и вышло. Девушки летели на свет поэзии, как безмозглые бабочки, и, как безмозглые бабочки, опаляли свои крылышки или с треском сгорали в его огне. Где этот гигантский костер, в котором пылают все творческие натуры и который, пройдя сквозь них, сжигает заодно и всех окружающих?

Женщинам и особенно особам, не успевшим еще стать ими, нравились не столько стихи Гурьянова, а магия выступления поэта, когда он совершенно преображался на сцене, чуть покачиваясь, словно на волнах времени, своим бархатным голосом нараспев читал свои стихи, читал с таким видом, будто сочинял их тут в зале на глазах слушателей.

В этот момент слова-звуки обретали плоть, наполнялись его дыханием, взмахивали невидимыми крыльями согласно ритму стиха, окрашивались бархатным тембром густого голоса и летели по диагонали зала ввысь, согреваемые мечта-

тельным взором поэта.

Ах, как много женщин мечтало укутаться в их облако, как в воздушную божественную шаль, насладиться своим восторгом и всеобщей завистью!

Выступления Гурьянова имели несомненный успех с первого же его вечера, в который он вполне профессионально заявил о себе, как о незаурядном поэте и чтеце.

Как-то на одном из таких вечеров Гурьянов увидел в зале Аглаю Владиславовну. У него екнуло сердце, как на суде. Он ни разу не видел ее на своих выступлениях. После вечера он раздал автографы и, отбившись от жужжавших барышень, подошел к учительнице, поджидавшей его в фойе. Он поздоровался и молча устремил на нее вопрошающий взгляд. Аглая Владиславовна одобрительно улыбнулась.

– Поздравляю, Леша, ты пользуешься успехом.

– Да, Аглая Владиславовна, – слегка смущаясь от похвалы, произнес Алексей, – мне лучше стали удаваться стихи. Особенно четверостишия и двустишия.

– А за трехстишия страшно братья? Нет, Леша, я не совсем разделяю твой энтузиазм. Краткость, она, разумеется, свойственна таланту, но делает его тоже кратким. Краткость идет или от многой мудрости, или от многой желчи. Извини, в тебе больше второго. Не ко времени, кстати. Молод еще. Ну-ну, не бычься, мудрость еще придет к тебе. Никуда ты не денешься от нее. Если, конечно, не будешь убегать специально. Да сам посуди, хотя бы вот это... Да, проводи меня.

Не надо мне текста, я прекрасно все запомнила. Вот: «Как трудно умному в стране, где дуракам закон не писан, где пишут матом на стене, и где подъезд, и лифт записан». Или эти вот, «детские»: «У тети Оли, тети Риты оба мужа паразиты, а муж у тети Кати паразит в квадрате». Ну, что это? Не спорю, остроумно, но где вершины гор, с которых поэзия не имеет права спускаться? А некоторые рифмы? «От почечуя зад не чуя», «У еврея диарея»? Извини, пошло. Ведь у тебя есть и такие строчки: «Ночь настала. День куда-то канул. Я читаю Данте. Дождь идет. Я спокоен. Я никем не стану. Жизнь моя, как этот дождь, пройдет». А? Ведь тут в четырех строчках вся твоя жизнь. Да и не только твоя... Или вот, посвященные Лорке, концовка: «По дороге серебристой еще бродят тени мавров, и на цвет зеленый листьев тучей падают жандармы». Тут и Лорка, но тут и ты. Пиши пока нормальные стихи, краткие на памятнике напишут. Вон, поэма о Мэри и Перси Шелли, легкая и задорная! «За столом сидела Мэри, на столе стоял портвейн, в парк открыты были двери, в голове был Франкенштейн». Прелесть, хоть и банально! Но, увы, такого не много. Что ж, на три с плюсом, Алексей, справился.

– Может, все-таки четверочку поставите? – протянул Гурьянов.

Аглая Владиславовна засмеялась, наклонила Гурьянову голову и поцеловала в макушку.

– Тьфу, горько!

– От желчи, Аглая Владиславовна.

Учительница легонько стукнула его по затылку.

– Привет Нине Васильевне. На той неделе не получилось, в субботу обязательно приду. А голос у тебя чудо какое-то!

Гурьянов старший, наслушавшись от жены об успехах сына, пожертвовал своим вечером и пришел на выступление сына. Признаться, он был поражен тем, сколько женских глаз с восторгом смотрит на Алексея. Николай Федорович тут же сделал набросок, а потом в первый раз взялся писать портрет сына. За неделю он справился с ним и принес в институт.

Анна Петровна столкнулась в коридоре сразу с обоими Гурьяновыми, отцом и сыном. Художник, видно, решил похвастать сыну выставкой своих достижений. Суэтина поразилась, как они были похожи друг на друга. Николай Федорович раскланялся с ней и, как девушка в танце, плавно и широко повел рукой:

– Вот, Анна Петровна, мой сын Алексей. Поэт.

– Ну, папа, – по-мальчишески сказал сын и с улыбкой поклонился ей.

У Анны Петровны даже застучало в висках – как он был похож на того Николая Федоровича, который рисовал портрет Жени!

Она никак не могла успокоиться и на занятиях ни с того, ни с сего похвалила последний портрет Гурьянова (хотя и не видела его). Среди студентов оба Гурьянова, как люди

искусства, были достаточно известны.

– Я только что видела его самого с сыном. Удивительно похожи! Как две капли воды!

Настя Анненкова поинтересовалась, где портрет.

– Да сразу, как с лестницы поднимаешься.

Анна Петровна задумалась, ловя ускользающую мысль. А тут и звонок прозвенел...

Настя пошла вдоль стены, скользя взглядом по округло-одутловатым, будто только что из-за стола, лицам портретных современников. Возле лестницы она остановилась возле портрета молодого мужчины (одна голова без плеч и без головного убора, вроде чеширского кота), выгодно отличающегося от прочих выразительностью черт и отсутствием упомянутых плеч. Рядом с портретом стоял мужчина, и против света Настя не видела его лица. Мужчина, не обращая на нее внимания, зашел с другой стороны. Настя перевела взгляд с портрета на мужчину и обратно. Ба, с портрета мужик сошел!

– Похожи как!

Гурьянов-младший был приятно удивлен совпадением его представления о цвете голоса крупной красивой черноглазой девушки с самим цветом. Голос был звучный, грудной, мелодичный.

– Вы поете? – спросил он.

– И пляшу, – ответила девушка.

– Так кто на кого похож?

– Друг на друга.

– Вы имеете в виду меня и портрет?

– Я имею в виду вас и вашего отца.

– А-а, мы в самом деле похожи.

– Так это ваш портрет или автопортрет вашего отца?

Гурьянов озадаченно посмотрел на девушку. Такая мысль не приходила ему в голову, даже когда отец рисовал его семь вечеров подряд. «Так он меня рисовал или во мне, как в зеркале, разглядывал себя?» – подумал Алексей.

– Думаю, это автопортрет, – сказал он.

– Я тоже так думаю, – эта реплика почему-то задела Алексея.

– Да? Почему же?

– В портрете нет чего-то такого, что есть только в вас.

– Интересно, чего ж?

– Мне тоже интересно. Не могу понять. Пока на уровне ощущения. Чувствую... нечто родственное, что ли. Трудно объяснить. Как запах. Яблока, например, или сирени. Как передать словами? Да никак. Пахнет яблоком. Пахнет сиренью. Вот ваш портрет не пахнет...

– Чем же это он не пахнет, чем пахну я? – засмеялся Гурьянов.

Ему на ум пришла пара строк, а записать было нечем.

– У вас есть ручка? Или карандаш?

Настя протянула ему карандаш, который вертела в руке. Гурьянов записал что-то на манжете рубашки. Настя ткнула

пальцем:

– Стирать кто будет?

– История. Так чем же портрет не пахнет, чем пахну я?

– Одеколоном «Шипр». Ой, звонок был, что ли?

– Да уж минут пять.

– Да вы что?! Суета убьет! Заметит, что меня нет...

– Не блистайте своим отсутствием!

– Может, прошвырнемся в киношку? В «Гвардейце» «Земляничная поляна» идет. Там, говорят, покойник из гроба встает. В самом начале.

– Как слово. Да что вы говорите? Прямо из гроба? Покойник? Идем!

После кино Настя потащила поэта к себе домой.

– Мама прическу делает, а мы пока чай попьем. Придет из парикмахерской, познакомлю. Полпирога хватит?

– Маловато будет. Целого нет? Слышь, неудобно как-то. Мы и с тобой-то толком не знакомы, а ты уже с мамой собралась знакомить меня, – они за мороженым в буфете кинотеатра перешли на «ты».

– Да я скажу, что учились вместе.

– В одном классе? – насмешливо сказал Гурьянов. – Тебе сколько лет? Двадцать? А мне двадцать три. Три года, Настя, разделяют нас, но и три года нас соединяют. Кстати, «классную» вашу, Аглаю Владиславовну, видел. На мой вечер приходила. Похвалила.

– А я скажу, что ты три года в одном классе просидел. Из-

за меня.

Анна Ивановна раскладывала пасьянс, грызла печенье и разговаривала с Тимошкой. Сколько сменилось у них собак, все они были бездомные, подобранные на помойках, и все Тимошки. И характер у всех один был, и всеядность. И совершенно дурацкий оптимизм. Все в нас, вздохнула Анна Ивановна. Второй день у нее было высокое давление и болела голова.

– Ну что, Тимошка, печенья, наверное, хочешь?

Глаза вечно голодного Тимошки выражали печаль и недоумение по поводу столь странного вопроса. Хвост прополз по полу пару раз туда-сюда.

– Хочешь? Вижу, что хочешь.

Тимошка для убедительности пустил слюну и нетерпеливо взвизгнул.

– На, на, ненасытный. И сколько же влезает в тебя?

Тимошка протянул хозяйке лапку. В глазах его было: все, что в вазочке, влезет.

– Ты эгоист, Тимошка. Ни разу не оставил мне в своей миске ни крошки, ни разу не спросил, хочу ли и я поесть.

Тимошка согласно пустил слюну до пола.

Открылась без звонка входная дверь и вошла Настя с молодым человеком. Тимошка, оглядываясь на вазочку, побежал к ним. Рядом с Настей молодой человек выглядел даже внушительно, а ведь и Настя не мала. Впечатляет, с непо-

нятным ей самой удовлетворением отметила Анна Ивановна, статен и... какой взгляд, какой взгляд! Бог ты мой!.. Анна Ивановна почувствовала, как заколотилось вдруг сердце. Она приложила руку к груди. Взяла себя в руки.

– Ты дома? – воскликнула Настя.

– Как видишь, дома.

– Я думала, ты в парикмахерской.

Анна Ивановна усмехнулась:

– Мне сейчас только в парикмахерскую идти! Не прошла голова, – она приложила ладонь тыльной стороной к виску. – Опять сто восемьдесят.

– Ма, познакомься, – сказала Настя.

Анна Ивановна с деланно вялой улыбкой встала из-за стола и протянула молодому человеку руку.

– Анна Ивановна Анненкова.

– Да он знает, что ты Анненкова, – засмеялась Настя. – мы же вместе учились!

– Зипунолог Гурьянов Алексей, – произнес тот бархатным баритоном.

Анна Ивановна вдруг повела перед собой ладонью, взмахнула рукой и опустилась на стул – благо он был под ней. Уронила голову на стол и застонала.

– Мама, что с тобой? – воскликнула Настя. – Алексей, помоги.

Они перевели Анну Ивановну на диван и уложили ее.

– Может, «скорую» вызвать?

Анна Ивановна внятно произнесла:

– Не надо... Свет выключите.

Настя укурила мать теплым халатом. На цыпочках они вышли на кухню.

– Что ты сказал? – спросила Настя.

– Я? Когда?

– Что ты маме сказал?

– Да ничего я не успел сказать маме! Представился и все.

– Ты перед этим что-то сказал?

– Перед этим? А, зипунолог, сказал. От слова «зипун».

Курсовик пишу по древнерусским обрядам и фольклористике.

– Да? Странно. Ничего не пойму. Почему она так вот водила ладонью? – Настя медленно водила перед глазами своей ладонью из стороны в сторону и задумчиво смотрела на нее. – Почему? Она явно что-то хотела сказать.

– Не надо ее беспокоить, – сказал Алексей, взял ладонь Насти в свои руки и прижался к ней губами. Настя отняла руку и спрятала ее за спину.

– Не надо, Алексей, – сказала она.

– Называй меня Лешей.

– Что-то ты не так сказал. Не правильно.

– Можно, конечно, и правильно говорить, гекзамером, но...

– Ты иди, я справлюсь одна. Иди. Если что, найдешь меня по расписанию.

Гурьянов блеснул глазами, взмахнул своими кудрями, поклонился и молча вышел.

Настя терялась в догадках. Она могла, конечно, спросить у матери, что все это значит, но сначала хотела разобраться сама. Почему мама так странно (болезненно даже) отреагировала на незнакомого молодого человека. Кстати, очень симпатичного. В дверь он к ней не ломился, в окно не лез. Я представила его, как старинного знакомого. И, на тебе, взять и брякнуться в обморок. Причем не натуральный. Актриса. У актрис хоть роль какая-то, сверхзадача. А тут? Но и брякаться ради пустяка, менять не только планы вечера, но и, может, планы на мою дальнейшую жизнь... Стоп, вот оно где! Планы на мою дальнейшую жизнь. Она, выходит, восприняла мое знакомство с Алексеем, как нечто выходящее за рамки приличий или невозможное по своей сути. Ну, на счет приличий, тут все пристойно до тошноты. А вот невозможное по сути – не знаю... Настя задумалась.

Притворство матери бросилось в глаза, когда она ловко подоткнула немощной рукой халат себе под бок, чтоб не дуло.

– Мама, что это значит? – Настя зажгла свет.

Анна Ивановна приоткрыла один глаз.

– Ушел? – спросила она.

– Ма, ты меня напугала. Что за комедию ты устроила? Как маленькая, ей-богу!

– Ой-ой-ой! Не смейся – я напугала тебя! Тебя напугаешь!

Настя была втайне польщена такой оценкой, но продолжала допытываться у матери о причине ее столь странного поведения.

– В кои веки привела кавалера, старинного знакомого, а она бряк в обморок. Как в пьесе. В драмтеатре конкурс объявили. Иди...

– Брось врать-то: старинного знакомого! Где подцепила его, старинного знакомого, в какой такой библиотеке? По его холеной физиономии видно, что он сто лет как дорогу туда забыл. Когда познакомились-то? Неделю, две назад? – в голосе ее за небрежностью слышалась настороженность.

– Сегодня. В институте.

– Поздравляю, – облегченно вздохнула мать. – Гора с плеч.

– Какая гора?

– Большая. Тебе не разглядеть. Дай-ка цитрамон. Третью пью, не помогает.

– Раз не помогает, зачем пьешь?

– Ты поможешь? Воды принеси.

Она знает его. Она знает Гурьянова. Откуда? Или... Или она знает его отца? Его отца... Ну и что?..

Настя во сне открыла глаза и увидела, как перед ними раскачивается, как маятник, ладонь матери, туда-сюда, туда-сюда, и никак нельзя было ее остановить и от нее избавиться. Мало того, под утро она стала раскачиваться под слова: Гурь-

янов... Гурь-янов... Гурь-янов...

С детства Настя видела сны и привыкла, что все они так или иначе у нее сбываются.

Акт 2. «Три товарища» (1970—1978 гг.)

1. Такая радостная встреча, что искры сыплются из глаз

С молодости (особенно до женитьбы) Дерюгин был доволен всем в жизни. Всё хоккеем, говорил он. Жил он в своем доме на берегу Нежи, и река была одним из слагаемых его довольства. Не говоря уже о микроклимате, включавшем, разумеется, сам вид водного бассейна и всегда свежий воздух. Река давала Дерюгину рыбу, раков, выгул и выпас трех десятков гусей и уток, камыш и прутья для корзин на продажу, в половодье лес для строительства и отопления и всякую другую дрянь.

День с самого утра выдался на редкость удачным. Еще до первого рейса – трепался о том о сем с кассиршей Тоськой, подходит Емельчук, сторож, вынимает из сумки щенка колли.

– Толян, дарю! – говорит. – Топить жалко. Красивый.

И впрямь – загляденье! Дерюгин любил эту породу собак. У него уже были две. И он любил рассказывать всем своим знакомым, какие красивые это были собаки, какая густая и

пышная у них шерсть. Он и сейчас повторился:

– Замечательные были собаки. Когда умирали, чего-то не прижились, через год померли одна за другой, я из них шапки делал – очень хорошие получались шапки, пышные и красивые. А этого я Артуром назову. Редкое собачье имя!

Где-то он услышал это имя, и оно ему понравилось. Вырастет Артур, опять будет в доме собака, думал он, и на сердце его становилось тепло.

Кассир Смирнова воскликнула:

– Да как же ты мог из собаки сделать шапку!

Дерюгин посмотрел на Тоську и не понял вопроса, но на всякий случай сказал:

– Шапка-то получилась не абы как, красивая вышла шапка! Я вон ее до сих пор ношу, а вторую племяшу дарил – отказался, а зря. Артура буду в ней воспитывать. Должна понравиться – собачья шерсть, родня какая никакая.

После ужина Дерюгин вышел покурить перед сном. Полоска заката на глазах превратилась в полосу. Дерюгин сидел на скамейке у ворот и курил, сплевывая в специально сделанное для этого дела углубление слева от скамейки, скрытое от посторонних глаз выдвигающейся крышечкой. Уже стемнело, но река была еще достаточно светлой. Вдалеке темнели какие-то пятна. Дерюгин сплюнул пару раз и обратил внимание на то, что пятна вроде как переместились слева направо, то есть по течению реки. Никак, плывут, заключил он. И мысль тут же подвигла на дело. Он отвязал лодку и по-

плыл к темным пятнам. Это оказались шпалы. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! – воскликнул он. Удача-то какая, и сколько их тут. В аккурат на баньку плывут. Откуда такие? Он быстро стал цеплять шпалы и буксировать их к берегу. Уже совсем стемнело, когда он справился с этим делом. Двадцать пять шпал – такой был подарок вечера. Дерюгин перетаскал их за домик и, уставший, но довольный, сел покурить. Ну, подфартило! Возле ног лежали три шпалы, которые он выловил еще по весне. Они проросли травой, засыпались песком, надо будет ломиком завтра поддеть, подумал он. Хорошо, выходной. От реки доносились звуки жизни. Кто-то плывал на лодке, скрипел уключинами и, похоже, был чем-то недоволен. Во всяком случае, ругался. Кто бы это мог быть, заинтересовался Дерюгин, и прикурил новую папироску от первой. Минут десять еще скрипели уключины, плескала вода, ругался невидимый голос, потом из мглы нарисовалась тень. Пристала лодка, тень подошла к Дерюгину и спросила мужским голосом, тем, что выражал недовольство:

– Не видал тут кого-нибудь, кто таскал шпалы на берег?

Дерюгин даже уронил потухшую папироску на землю.

– Нет, – сказал он, – не видал. Вот лежат три шпалы, так они еще с весны тут лежат.

– Вот же паразиты! – в сердцах сказал ночной голос. – Я с баржи возле излучины шпалы поскидал. То-се, нет шпал! Сказали, кто-то кружил по реке в этом месте с полчаса назад. Не видал?

– Да нет же, только что с работы пришел, – сказал Дерюгин. – Закурить еще не успел. Будешь?

Тень ушла, слилась с тенью лодки, а потом эти слившиеся тени слились и с рекой. Хороший выдался вечер. Сразу на половину баньки шпал хватит! Хоккей!

И надо же, после такой везухи пошла полоса неудач, связанная с женой Зинаидой. У Дерюгина как какая неудача – обязательно от Зинки! Прямо магнитные силовые линии, то засасывают, то отталкивают. На следующий день в десять вечера приперлась какая-то девица. Вчера забыла, мать ее, диплом в его автобусе, а он, нет, чтоб пройти мимо, заметил его и забрал с собой, о чем доложил диспетчеру. Разумеется, девица его нашла, и нашла именно в тот момент, когда он, в свой единственный выходной день, совпавший с воскресеньем, после плотного ужина расположился с Зинаидой на тахте. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! – сказал он, встал и отдал студентке диплом. Девица сказала, что уже поздно, не проводит ли он ее до транспорта, а то тут дикие (!) места. Пришлось проводить. Транспорта не было минут сорок. Зинаида устроила, понятно, сцену, после которой на тахту уже не тянуло. Что тоже имело свои последствия.

В понедельник, также на ночь глядя, Зинка при стечении соседей закатила ему форменную истерику по ничем не обоснованному подозрению в супружеской измене с соседкой Валькой, якобы случившейся в реке. Ну, были они в ре-

ке! Пляжик тут от дома неподалеку, мысок, кустики, протока. После работы пошел помыться. Валька там. Ну, побегали, побрызгали друг на друга водой. Ну, задел пару раз за задницу. Так там мудрено не задеть. Откуда ни зайдешь – всюду она. Подумаешь, нежности! На пляже – что делать еще? Что, по жопе хлопнуть – измена?! Принесло же Зинку именно в этот момент! И вообще, при чем тут река? Что, если неспособу изменить, на реку переться?

Во вторник того хуже. С утра не встала и не накормила. Попил чайку без всего. Пряник, мышами не догрызенный, специально, наверное, в блюде оставила! С утра то свеча, то зеркальце. Да еще без обеда – колесо, так его растак, менял! Дерюгин трясся от возбуждения, возведенного обстоятельствами в куб. Куб, как известно, символ бесконечности. Чтобы успокоиться, он курил одну папироску за другой. Баранку еще крутить и крутить. На остановке была толпа. Нехай ждут! Еще шесть минут. Отдохнули на дачках? Теперь ждите! Для гармонии чувств. Ишь, елозят от нетерпения. Елозьте-елозьте. Дерюгин вылез из автобуса, обошел его, постучал ногой по шинам. Скорей бы этот чертов институт кончить да куда на завод пойти. Осточертела шоферская дерготня! Покурил, выглядывая в толпе знакомых. Знакомых не было. Пора, кажется... А это что за Дрон! Дрон-выпендрон! В сторонке стоит (гордый!), сигаретки смолит. Болгарские, кажется. Ну, смоли-смоли...

Дерюгин подогнал автобус к остановке. После обычной давки все влезли в «салон» и разместились на креслах и в проходе. Заработал двигатель. «Дрон» последним заскочил на подножку, на ходу сделав еще несколько быстрых затяжек. В дверях обернулся, бросил сигарету и плюнул ей вслед. Сигарета попала в левый глаз, а плевок в правый глаз парню в спортивной кепке, возникшему в дверях. Парень, понятно, озверел. «Дрон» выставил руки и не пускал его в автобус. Несколько секунд борьба шла с переменным успехом. «Кепка» то заскакивал на подножку, то соскакивал и, держась за поручень, бежал рядом. Дверь захлопнулась – в тот самый момент, когда «кепка» был на улице, а «Дрон» в автобусе. Правда, в автобусе он был не весь: его голова торчала снаружи, а руки, просунутые в дверь, спасали шею. Автобус набирал скорость, а рядом с ним бежал «кепка» и бил «Дрона» по лицу. Дерюгин не без интереса наблюдал за этим и – ёпэ-рэ-сэ-тэ! – въехал в бетонный столб по правую руку.

Люди в «салоне» посыпались на пол и друг на друга. Двери раскрылись. «Дрон», пошатываясь, спустился на землю. Он крутил головой и тер себе шею. Дерюгин выскочил из кабины и с кулаками кинулся на «кепку». Но, сообразив, что «Дрон» помят, а «кепка» просто оплеван, сменил направление главного удара и в сердцах отвесил «Дрону» такую оплеуху, что того кинуло на столб.

– Безобразие! – сказали граждане. – Напьются с утра!

В участке все трое поостыли. Не сговариваясь, хором ска-

зали, что вышло явное недоразумение. Мол, думали так, а вышло этак.

– Говорить по очереди, – прервали их. – Вопросов не задавать. Друг от друга отойти.

Как пятиклассники, они повторили: так-этак, так-этак, так-этак. Дурацкий, мол, случай, и никаких претензий друг к другу не имеют – боже упаси! «Дрон» с «кепкой», затаив дыхание, наблюдали, как тестировали водителя. О-ох, свеж! Расписались и отпустили.

– Так ты Гурьянов? – спросил «кепка» «Дрона» на улице. – А я Суэтин. Из десятого «Г» в прошлом, параллельно учились.

– О! Встреча! Сколько лет-то прошло? – воскликнул «Дрон» Гурьянов.

– Уже интересно, – сказал Дерюгин. – И чего ж вы тогда плевались и рожи друг другу царапали, а мне бампер помяли?

– Да учились мы в одной школе! – воскликнули оба. – В разных классах, правда, но в один год выпускались.

Благополучно завершившийся день (если не считать двух царапин на лице, помятой шеи и синяка под глазом Гурьянова) они отметили у Дерюгина в гараже. Накупили выпивки, закуски побольше и расположились отдыхать. Все было по уму и, главное – никаких баб!

– Ты где? – спросил Гурьянов.

– На «Нежмаше», в газодинамической лаборатории, – от-

ветил Суэтин. – В прошлом году из Москвы приехал.

– Совсем, что ли?

– Да, совсем.

– Чего так?

– А-а, тут отдельный разговор. От дивергенции ротора перешел просто к роторам. А ты вроде как филфак кончал?

– Да, конвергенцией языков интересуюсь. Сам в свободном полете. Стишатами балуюсь. Вот, третья брошю-юрка на днях выходит.

– Не бросил, стало быть?

– Мне теперь без тропов и апострофов жизни нет. Синекдоха какая-то.

Дерюгин не выдержал:

– Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! Ребята, не надо ля-ля! Чего вы тут пороли сейчас? А? Давай по-простому, по-нашенски! Я сам, правда, на третьем заочном учусь. Но тяжело как-то, когда бу-бу. Давай без интервенций!

– Давай! – тут же согласились ребята. – Извини, больше не будем.

– А я вообще-то классный механик! – сказал Дерюгин, и «кепка» с «Дроном» подняли стаканы за его «Дерюгу», собранную из остатков «Москвича» и всякой рухляди...

Когда Дерюгин в четвертом часу утра добрался до дома, где его уже часа три поджидала супруга, первое, что он сказал ей, пока та не успела раскрыть рта:

– У меня, Зинаида, теперь есть по гроб жизни два коре-

фана, у нас с ними полный хоккей, и ты меня Валькой своей застиранной больше не компрометируй и не доставай! Никаких больше интервенций! С конвергенциями, – вдруг вспомнил он. – Заднице ее еще надо подрасти, ё-пэ-рэ-сэ-тэ!

В сказках жизнь складывается так, что рано или поздно она подходит к столбу, от которого дальше ведут три дороги в разные стороны, и на каждой из дорог хуже некуда, а в самой жизни, как в сказке, бывает так, что к столбу с разных сторон подходят три разные жизни и дальше идут одной общей дорогой. И все у них путём. Бывает такое.

По гаражам стоят такие упоительные российские вечера!

2. У «задохликов» с «болтунами» нет будущего

После третьего курса Настя устроилась на полставки рабочего в учхоз. Проработала лето, а когда начались занятия, все свободное время пропадала там. За это ей ежемесячно платили вначале пятнадцать, а потом двадцать пять рублей. Из них рублей пять уходило на один только транспорт.

Маточное стадо уток насчитывало полторы тысячи голов. «На мясо» выращивалось еще сорок тысяч утят. Век утиный короткий, а потому каждый день начинался у них с еды и заканчивался едой. Собственно, как театр начинается с вешалки, так и птицеферма начинается с развешивания кормов.

Все лето Настя была «на кормах». Конечно, ей больше нравилось возиться с утками не в длинных низких помещениях, где от крика закладывало уши, а на водном выгуле, огороженном металлической сеткой. На берегу пруда стояли огромные чаны, в которых готовилась «мешанка», и надо было постоянно что-то таскать, взвешивать, мешать, раскладывать, разносить... Утки были страшно прожорливы (чуть-чуть – и съели бы Советский Союз, как когда-то овцы съели Англию) и каждый день, понятно, требовали свое в громадных количествах. Им, в меру своих сил, помогали еще и воробьи. Тьма их выводилась в застрехах утятника, и все они были сколочены в плотные дружные стайки. Насте нра-

вились воробышки, и она махала на них рукой любя.

За двукратным кормлением птицы влажной «мешанкой» и раздачей зерна утром и на ночь у самой Насти иногда за день макового зернышка не попадало в рот. Одно утешало, что человеку жир менее полезен, чем утке – будь она с яблоками или в том же «бляеше». Мама так вкусно готовит это татарское блюдо! Тесто пропитывается жиром, корочка сочная, хрустящая, а прожаренная начинка из картошки, лука и кусков утки так и тает во рту! Косточки – и те как сахарные! Как есть хочется! А эти – обжоры несчастные!

Утиный рацион был королевский – от витаминов до рыбьего жира. Будто уток готовили не с яблоками, а в палату лордов.

Символически птичнику ближе всего подошли бы песочные часы – сверху глотка, снизу клоака. Впрочем, как и всему остальному человечеству. Как все пройдет насквозь, так и время твое закончится.

Зимой работать приходилось в помещении, и тут мешки и ящики не надо было уже возить и таскать на такие расстояния. За год Настя перелопатила сотни тонн кормов и выкормила десятки тонн жирного утиного мяса. Да и утки охотно шли ей навстречу и старались каждая на своем месте съесть как можно больше, чтобы своим привесом порадовать страну.

Прилежание и трудолюбие студентки не осталось без вни-

мания и со стороны людей. Когда в учхоз приехал заведующий кафедрой частной зоотехнии, профессор Толоконников, ему хорошо отозвались о студентке Анненковой. Толоконников поговорил с ней (он помнил ее по занятиям) и оформил ее на кафедру лаборанткой. Григорий Федорович с дальним прицелом делал это: со временем в кафедру надо было вливать свежую кровь. Ему уже давно приглянулась эта умненькая и, по всему, настырная девушка. Да и мать у нее, того и гляди, в «номенклатуру» заберут.

С осени, на пятом курсе, Настя занялась лаборантской работой. Она приходила на кафедру первая и покидала ее последней. В свободное время она изучала методические пособия, специальную литературу, читала курсовики, дипломные работы, авторефераты диссертаций. Такой энтузиазм, разумеется, вызывал некоторое неудовольствие у старого лаборантского состава, но открыто его никто не выражал. Ничего, год потерпеть можно – да и самим меньше работы: посуда вон вся чистая, блестит! Диплом защитит, а совхоз быстро ее уму-разуму научит!

Григорий Федорович как-то в середине ноября задержался на кафедре, усадил напротив себя Настю и стал объяснять, чем ей предстоит заняться, какую литературу почитать и какие методики освоить.

– А я уже, Григорий Федорович, все это прочитала и освоила.

– Да не может того быть! Когда?

– Да ведь два месяца уже прошло...

– Да? Ну-ка, ну-ка, покажите, как вы меряете, скажем, сопротивление разрыву подскорлупной оболочки?

Показала.

– А, скажем, раздавливанию?

Тоже показала.

– Что, и...

И это показала!

А когда Настя произнесла слова «стандартная методика Когана-Бергмана», неведомые старшей лаборантке Садыковой, профессор, как говорится, и вовсе «отпал».

– Я и биохимию освоила! – не удержалась Настя. Она покраснела, глаза ее горели восторгом.

– Умница! – не удержался и профессор. – Настя, вы уникал! Первый раз такое встречаю! Когда вы успели освоить все это?

– У меня же, Григорий Федорович, целых два месяца было!

– Хорошо, продолжайте в таком же духе. Два месяца! За два месяца иные два раза не почешутся. Я вам завтра дам список литературы. Диплом будете делать у меня, на базе Черноярской инкубационно-племенной станции, инкубатора, одним словом. Знаете, что это такое? Вы все знаете. Займемся благородным делом – выведением утят. Женское, кстати, дело! А нормально пойдет, курами займемся. Бройлерами. Это потом.

Насте стало страшно любопытно, что означало это «потом», но она сдержала себя и согласилась:

– Хорошо – потом!

Толоконников засмеялся. В отличном расположении духа он проводил девушку до ее дома, помахал по-приятельски рукой и, насвистывая, отправился к себе. Он тоже жил неподалеку от института.

Женское дело, выведение утят, было благородно во всем, кроме запахов.

В инкубаторе стояла страшная вонь от протухших неоплодотворенных яиц – их называли по-простому «болтунами», от яиц с «кровавым кольцом», от так называемых «задохликов», от замерших эмбрионов. О жаре в инкубаторе как-то даже не думалось, но вонь Настю здорово доставала. Недели полторы она перемогала себя и свою природную брезгливость к неприятным запахам. Но когда занялась изучением связи морфологических особенностей утиных яиц с их инкубационным качеством и с головой ушла в измерения и анализы с утиными яйцами и эмбрионами, во взвешивания, подсчеты, описания и другие операции, она вонь перестала чувствовать. Вонь осталась снаружи, а мысли ее были ясными и свежими, как горный воздух, как мысли всякого молодого талантливую ученого, занятого только лишь поиском истины. Уже через три месяца Настя обратила внимание на то, что больше всего замерших эмбрионов и «задохликов»

оказывается в яйцах, имеющих удлинённую эллипсоидальную и удлинённую яйцевидную заостренность концов. Толоконникова заинтересовала эта особенность.

– Вот уже готов и диплом, – сказал он, проглядывая данные и подставляя в полученную Настей формулу какие-то одному ему ведомые значения.

– Как готов? Я ещё к нему не приступала.

– А вот так и готов. Думаю, многие аспиранты были бы счастливы получить такой результат. Вы, Настя, ещё так не искушены в жизни!

– Это плохо? – серьёзно спросила Настя.

– Не знаю. Наверное, хорошо. Нет, это удивительно!

– Что? – встревожилась Настя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.